ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ

Сергей БЕЛЯКОВ
Сергей ИГНАТЬЕВ

ТИГР В КАМЫШАХ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Ностальгический Конан-Дойлевский детектив с элементами триллера и стимпанка

- Сергей Беляков Сергей Игнатьев
  ○

Сергей Беляков Сергей Игнатьев
Тигр в камышах

«Когда придет черед протянуть ноги, я хочу умереть, как мой дед — мирно, во сне. Совсем не с перекошенными в крике ужаса ртами и выпученными зенками, как остальные трое в стимходке, которой он рулил.»

(Из разговора в дирижабле)

Мой друг, высокий брюнет с суточной щетиной на худощавых скулах, выходит к окну. Молча становится в просвете штор, напоказ всей Пекарской улице. Расправляет несуществующую складку на отвороте кофейного шлафрока, движением головы отбрасывает непокорную прядь бетховенской гривы. Прищуривает подернутые синевой усталости веки.

Бережно трогает тонкими губами мундштук, прилаживаясь, и…

От густого в низком регистре до блестяще-тонкого в верхнем, нервически подергивая крылом ноздри орлиного носа, вывязывает в воздухе мелодию. Вымучивает, заломив бровь и судорожно схватывая воздух уголками рта, до боли знакомые гаммы своего последнего увлечения, старинной цыганской баллады «Назови меня по имени, Алехандро».

Тири-рири-та ри-ри-та та-та, назови меня по имени, Алехандро, тарара-та тарара-та, подари мне ночь страсти, Алехандро, — ти-ти — тири-рири-та…

До бесконечности, до боли зубодробительной. Я не понимаю его пристрастия к музыкальным экзерсисам. Молча наблюдаю, закинув ногу на ногу, из глубокого плюшевого кресла.

Негоже кривить душой. Мой музыкальный слух оставляет желать много лучшего. Разрыв шрапнельной бомбетты в близости от головы во время сражения под Йоханнесбургом наверняка превратил бы череп в дуршлаг, если бы не плотно-катаный валеночный шлем моего собственного изобретения. Пара шрапнелин навсегда поселилась в правом плече, и вдобавок — полная потеря слуха. Музыкального слуха. Невероятно, но факт.

По крайней мере, эта версия всегда благожелательно

принималась дамами на раутах и балах.

— Патер наш Иисусе! Када ж йим надоест этот самый хилофон мучать?

Мадам Шеломицкая, наша квартирная хозяйка, распахнула высокие резные двери, вкатывая в гостиную столик с пузатым кофейником, графином апельсинового сока, накрахмаленными до чопорной синевы салфетками, серебром блистающими перечницами и солонками, ложечками и вилками, ножичками и зубочистками с перламутровыми ручками, и венцом завтрака — двумя тарелками с фирменной яичницей. Тарелки до поры накрыты сияющими мельхиоровыми колпаками, но предательски-завораживающий запах поджаренного бекона уже заполнил гостиную.

— Не хилофон, а каллиофон, мадам, — устало поправляю я. Трудно спорить с хозяйкой, которая упрямо не желает выучить название необычного инструмента моего друга, редкой работы ручного аналога стим-каллиопы.

Ритуал повторяется уже несколько дней. Подъем, терзание каллиофона на виду у всей Пекарской, традиционный завтрак, пара фраз с хозяйкой, молчаливое чтение свежих новостей с лент радиографа.

Тишина дообеденных часов благостна, но обманчива.

Мы думаем.

Вернее, думает мой друг. Я же лишь «принимаю участие» в дежурном и совершенно бесплодном, с моей позиции, мыслительном процессе. Такое случается регулярно: с напором и уверенностью линейного корабля он втискивает в мою жизнь очередную головоломку, не утруждаясь пояснением необходимых деталей. Затем терзает меня бесконечными вводными, вопросами, рассуждениями и гипотезами. Не подумайте, что он не нуждается в моих комментариях или ответах. Он готов выслушать любой бред отчаявшегося, уставшего мозга, чтобы выстроить на нем мекку собственного самоутверждения. Тем самым, как говорит он, подхлестывается его дедукция.

Его зовут Всеволод Сергеевич Ханжин. Я называю его исключительно по фамилии, как и он — меня. Это наше негласное правило. Ханжин — гений приватного сыска в свободном полете, профессионал мирового уровня; его услугами пользовались короли и министры, индустриальные магнаты и знаменитые теноры, политические деятели и спортивные знаменитости. В миру Ханжина знают мало. Те, кто прибегает к его услугам, пекутся о сохранении инкогнито.

Как водится, скрытность, деликатность и достижение результата в частном сыске идут об руку с приличными

комиссионными. Ханжин не опускается до ведения финансовых дел. Это моя забота. Естественно, я работаю с лучшим сыщиком Империи не из альтруистических побуждений, но с некоторого времени наши отношения переросли за грань реляций хозяин-работник. Если потребуется, я спокойно встану на пути пули, уготованной для него. Знаю, что он поступит так же. Мы никогда не говорим об этом. Подобный кодекс пожертвования, возможно, покажется кому-то странным, но нас он вполне устраивает.

А вот несносность Ханжина, его причудливый, хотя и невероятно результативный, образ мышления заставят любого взвыть от отчаяния в первый же день общения.

Но что возьмешь с гения? Вот и сейчас:

— …входит в мою комнату, так? А теперь скажите: как и что нужно устроить в континууме комнаты, чтобы предотвратить швыряние этим человеком любых предметов? И необязательно в меня?

— Позвольте перефразировать: вы хотите ограничить подвижность любого человека, входящего в вашу комнату, с тем, чтобы тот не мог бросить в вас, ну скажем, дохлой крысой или там куском репы?

— Именно. Причем я не сдерживаю вашу изобретательность: это может быть идея, относящаяся к любой, натурально, любой области, от изменения параметров пространства-времени до психического воздействия на субъект, изготовившийся швырнуть в меня *нечто*. К примеру, в данный момент я рассматриваю увеличение вязкости воздуха до такого предела, что субъект не сможет сделать резкое, а стало быть, швырятельное, движение.

— Увеличение вязкости воздуха? А как вы сами соизволите передвигаться по комнате?

Укоризненно склонив голову, я вытаскиваю из кожаного кисета на поясе миниатюрный парогазовый хронометр Буре, и нажимаю клавишу. Крошечный патрубок выдвигается из отверстия в корпусе луковичных часов, выпустив струйку пара толщиною чуть более волоса. Крышка откидывается, и стрелки передвигаются на десять минут пополудни.

Я выразительно гляжу на Ханжина, яростно жующего мундштук неприкуренной сигариллы в тщетных попытках найти быстрое решение задаче «нешвыряния». Он делает вид, что не понял намека. По расписанию последних дней, в этот час я разбираю пришедшую за ночь пневмопочту, а он обсуждает с мадам Шеломицкой меню на завтра.

— Н-н-ну-с, пожалте: запритесь в квартире, закройте все двери и окна, а ключ выбросьте?

— Навсегда?

— А как же иначе? Еще можно заранее, по-дальновидному, обзаводиться друзьями, которые наверняка не будут швыряться. Меня, к примеру, нужно будет очень здорово разозлить для того, чтобы я пульнул в вас… ну хоть этими вашими мозгами!

Я указываю на один из любимых экспонатов кабинета — банку с кривой надписью «Промыто!» на этикетке; в ней чинно плавали, как серьезно утверждал мой друг, мозги адъютанта Гранд-Визиря Турции Саида Алим Паши.

— А может, перенести это все на Луну? Все-таки, гравитация меньше. Мда-с. А еще можно сузить размеры… гм, квартиры… до такой степени, что замахнуться будет невозможно.

— Нет, нужно смотреть на проблему шире. Давайте обратимся к обожаемому вами доктору Павлову: если хорошо натаскать всех, кто к вам может заходить, — провести, так сказать, психологический треннинг, то рефлекс нешвыряния приживется. А треннинг сочетать с направленным физическим воздействием: ну скажем, каждый замах рукой сопровождается резким ударом сапогом по… сами знаете, по чему. Словом, подходит?

Ханжин отстраненно глядит сквозь меня, и я понимаю, что проблема вполне реально мучит его. Что за несносное создание!

— А еще можно убедить себя в том, что это — лингвистический казус. Нужно заменить слова «швырять, бросать» и их синонимы на что-то другое, и проблема рассосется сама по себе…

Я покидаю комнату, но мелодичное потренькивание радиографа останавливает меня на пороге.

У вас часто возникает ощущение причастности к эпохальному событию? К такому, что меняет судьбы? Я имею в виду некую поворотную точку в цепи последующих событий, когда ты осознаешь: именно с этого все и началось.

Как и всегда в моменты предчувствия, ощущения обострены, и мелкие, незначительные детали скрупулезно фиксируются мозгом; ты вспоминаешь их абсолютно четко много лет спустя.

Я вижу небольшое пятно джема на шейном платке Ханжина, в том месте, где шелк ныряет под лацкан шлафрока. Расстроится наверняка. Из распахнутого окна тянет разогретой смазкой, долетает пыхтение пассажирского люксомотива на остановке в конце Пекарской. Солнце выстреливает луч сквозь колышащуюся от сквозняка штору, и тот пытается проткнуть ленту моментразговора, резво ползущую из приемника радиографа — я привычно проверяю взглядом красный сторожок ленты экстренных сообщений (нет, все в норме).

Ханжин открывает рот, невыносимо медленно… ну же,

скорее, если ты чуть быстрее вымолвишь то, что хочешь сказать, то возможно, что магия предчувствия разрушится, и лента-моменталка окажется простым приглашением на партию лаун-тенниса?

— ППРРИИММИИТТЕЕ ССООББЩЩЕЕННИИЕЕ! — голос Ханжина вязнет басовыми нитками в гребешке моего слуха. Паника, постоянная спутница дурных предчувствий, липкими, суетливыми пальцами пытается свихнуть нормальность сознания.

Я давлю ее, как вошь. Я знаю, как с ней управиться.

Меня зовут Виктор Сергеевич Брянцев, мне тридцать пять лет, половину из которых я провел в удалении от сытной, установленной жизни молодого столичного господина. Моя биография заполнена войнами и голодом, страданиями и борьбой, надеждами и муками. Я столько раз даровал жизнь и отнимал ее, что вера в высшее существо, в *диэти*, в *спирит* растворилась в желчи потерь и крови воскрешений. Я служил полевым лекарем многих армий мира, наивно полагая, что своим делом я буду спасать жизни, а спасал лишь запасные порции пушечного мяса. В конце карьеры военного медика я почти тронулся умом; я был готов отнимать здоровые конечности у легкораненых, лишь бы не возвращать тех в строй.

Я уехал назад, в Империю. Несколько лет ничегонеделания и пьянства (я заработал приличные пенсии в пяти странах, а магараджа Курукшетры поклялся раз в месяц присылать мне две горсти золотых наггетов — до истечения дней моих) истощили тело, но не утолили мук ума.

Кожаные мешки с наггетами пылились в углу. Я понимал, что умираю. Не физически, но духовно.

Тогда я повстречался с Ханжиным.

…Лента момент-разговора (*мессаж*, как с придыханием, на французский манер, называет ее мой напарник), кажется, сама вползла мне в ладонь.

«Реквестирую приватный разговор с господином Ханжиным», — гласила начальная строка.

Автор запроса — некая г-жа Анна Усинская.

* * *

Мясная муха старается с размаху прошибить стекло окна, мельтеша снаружи. Ханжин стоит в три четверти ко мне, на том же месте, что и во время утренних терзаний каллиофона. Губы сжаты, глаза полуприкрыты. Я прекрасно понимаю, что сейчас происходит. Впитывая мой доклад, неутомимый мозг сыщика

сортирует и раскладывает по многочисленным уголкам и закромам памяти информацию, которую я стараюсь дать в максимально сжатом виде.

Анна Усинская, сестра малороссийского магната Мстислава Усинского, обращается за помощью в расследовании обстоятельств исчезновения ее свояченицы, жены Усинского, Марыси.

Помимо длительного контакта с Анной по радиографу, я провел ночь и раннее утро в лихорадочном капсульном обмене с Имперской Библиотекой — по моей просьбе кураторы ИБ связывались и с Вильно, и с Краковым, и даже запрашивали материалы из Королевской Пневмотеки в Лондоне. Разумеется, информация в наши дни стоит недешево, но Ханжин никогда не ограничивал меня в ее отборе для предстоящего дела. Собственно, основываясь на оценке информации, он приходил к решению, будем мы браться за расследование или нет.

Суть обращения госпожи Усинской сводилась к следующему.

Усинские — наиболее «шановитые», знатные, жители городка Смуров, что находится на границе Империи с Воеводством Польско-Литовским. Брат Анны, Мстислав Усинский, прямой наследник славного Ледожа Усинского, был нелюдимом; шляхта старшего поколения в Смурове поговаривала, что зажиточный помещик останется бобылем.

Марыся Пинкевич очаровала Мстислава на балу три зимы тому. Девушка была невероятно красивой: местные шляхтичи без устали рубились на шаблях, претендуя на роль ухажеров прелестной панны, но красота ютится вместе с одиночеством — как и в случае с Усинским, все сходились на том, что Марысе уготована синечулочная зрелость. Однако Усинский кавалерийским налетом разбил лед отстраненности, сковывающий красавицу-шляхтиню, и год спустя сделал ее хозяйкой имения.

Имение Усинских было знаменитым не только в пуще.

Записки майора Дэйва Причетта, описывающие жизнь, обычаи и нравы населения тех краев, в существенной части рассказывают о Смурове, о поместье Усинских и роли последних в развитии и процветании города и окрестностей.

Причетт, проведший более трех лет в качестве «вьязня», или по-местному, *закрутника*, узника смуровских шляхтичей, подробно описывает удивительные вещи, творящиеся в городе. Сообщаемое смахивает на «правдивые» истории Тацита Эфесского о сказочно богатом Тарнабуле на побережье Тавриды.

Скептически приподнятая бровь Ханжина не смутила меня.

Город Смуров знаменит Мельницей, которой много лет

владел род Усинских. Это не просто «мельница», поскольку помолы там прекратились почти двести лет тому; вообще же, самое первое упоминание о ней относится к пятнадцатому веку — ее якобы построили монахи-цистерисианцы, основавшие монастырь у провала в гранитном щите, в который несла бурлящие воды речка Смуровка. Помимо невероятных размеров (диаметр колеса, по Притчетту, достигал чуть не ста ярдов — тут бровь Ханжина полезла еще выше), необычность мельницы заключалась в том, что она исправно, в течение веков, служила источником механической энергии. Поначалу вращение исполинского колеса использовалось, помимо помола, для снабжения растущего города чистою водою (огромные ковши, приторочeнные к колесу, работали как *нория*) и для передачи «вращательного момента» на выстроенные поблизости кожевенную фабрику и маслобойню. Со временем, когда Смурова достигла волна индустриальной стим-революции, энергию вращения исполинского выходного вала мельницы приспособились передавать прямо в город, через постоянно усложняющуюся систему маховиков, распределительных валов, поддерживающих стим-станций и немеряное количество верст ременных передач.

(В этом месте доклада бровь сыщика, казалось, переползла под самую кромку волос на лбу. Бормоча: «коэффициент полезного действия… что они там, совсем не разбираются, механики хреновы?», он переместился в любимое кресло у камина, жестом пригласив меня в кресло рядом. Я продолжил.)

Маслобойня и кожевня захирели и закрылись, и не потому, что владельцы их разорились. Вокруг мельницы, причем не в географическом смысле, творились нехорошие вещи, бесовщина.

Во-первых, чем сильнее становилась зависимость Смурова от мельницы, тем менее доступной она становилась. Причетт говорит, что пуща в районе мельницы в полном смысле слова непроходима, и ему самому так и не удалось побывать на мельнице, хотя он слышал огромное множество местных легенд, сказок, поверий и страшилок о том странном месте. Настойчивый майор — как ни старался — не смог подобраться к мельнице ближе, чем Чертовы Ворота, огромные дубовые панели, установленные в месте, где пуща расступалась хоть на немного. Ворота были покрыты сложной резьбой, до такой степени мелкой и запутанной, что никто не мог разобраться в смысле изображенных на них символов.

Во-вторых, по другим источникам (Казимир Пружальский, профессор Краковского Музея Истории), несмотря на кажущуюся близость мельницы к цивилизации и, вдобавок, устойчивое число

смельчаков, пытавшихся пробраться к ней, это удалось только пятерым. Удалось в разное время и разными путями. Все они в итоге ослепли, причем (теперь и вторая бровь Ханжина полезла вверх) молва утверждает, что они потеряли зрение, будучи на мельнице, а вывела их к людям нечистая сила — страшное создание, местный Голем или Франкенштайн по имени Глинько.

Глинько, по легендам, появлялся на люди редко. У чудовища ростом в три аршина было поленообразное туловище, голова в виде нелепо-огромного чайника и загребущие руки, которыми он хватал людей, чтоб утащить на дно озера в расщелине кряжа, где с ним вместе якобы жило несметное число мойр.

Местные также утверждают (Пружальский), что по ночам вода в озере светится и кипит, хотя остается холодною на ощупь.

Речка Смуровка, продолжающая путь после небольшого разлива-озера у основания колеса, далее течет по огромной болотистой низине, заросшей камышами и кустарником — место, по Причетту, столь же нелюдимое и гнусное, как пуща у Чертовых Ворот. В камышах завелся странный зверь, невероятных размеров не то кот, не то рысь, что появляется чаще всего по полнолуниям, сея ужас среди местных жителей, задирая беспечных коз и заблукавших коров, а иногда и подгулявших выпивох, имевших несчастье забрести в камышовые дебри.

Марыся Усинская пропала в ночь клечального троицыного воскресенья. Анна сразу же заявила, что подозревает брата Мстислава в причастности к пропаже — а возможно, и к убийству — его жены.

Из рассказа Анны выходило, что после ужина Марыся сразу же ушла на хозяйскую половину, не дожидаясь супруга, который задержался в экзерсисном зале (Ханжин громко прочистил горло). Когда же Усинский наконец пришел в спальню, Марыси там не было. Встревоженный муж поднял на ноги прислугу, — обыскали сначала кватеры четы Усинских, затем и весь маеток, но от красавицы-хозяйки не осталось и следа…

Анна была разбужена шумом и криками слуг. По просьбе Мстислава она осмотрела личную спальню Марыси: ничего подозрительного, никаких следов борьбы или насилия. Радиографное сообщение в полицию было отправлено Анной с разрешения Мстислава, который, как ей казалось, был слишком спокоен для мужа, у которого только что бесследно пропала красавица-жена.

Заподозрив неладное, Анна решила наблюдать за Мстиславом. Ее подозрительность была вознаграждена. Уже почти под утро той же ночи, подумав, что Анна задремала от усталости, Усинский поспешно ушел из библиотеки, где они

ожидали новостей от полиции, и быстро скрылся из маетка на своем любимце, фризском скакуне Апаче.

Главным поводом для подозрений стал тот факт, что за спиной Усинского, поперек коня, лежало нечто, завернутое в ряднину, — по очертаниям походившее на женское тело.

Усинский вернулся через два с небольшим часа, не обмолвившись словом ни с Анной, что специально встретила его у ворот, ни со слугами.

Марыся словно провалилась в воду.

Единственной уликой, страшным вестником дурного, что могло случиться с молодой красавицей, был клочок ее ночного пеньюара, который неведомо как оказался у смуровского дурачка по фамилии Державин. Но *полицайные* Смурова не смогли выжать из идиота ни единого осмысленного предложения о том, каким образом эта улика очутилась у него.

Державин, по мнению Анны, вряд ли имеет отношение к пропаже ее свояченицы. Кстати, фамилия у идиота совсем другая, а Державиным его стали называть по другой причине. Жители Смурова убеждены, что Глинько пытался утащить бедолагу в озеро, но тот неведомым образом вырвался, оставшись с помутившимся разумом — частенько в кабаках можно теперь слышать крики: «Держи его! Держи его!»; при малейшем намеке на Глинька идиот заходится криком.

Я сделал свое дело.

Теперь от Ханжина зависело, берется ли он за расследование. Опершись плечом на оконную раму, он глядел на улицу, теребя кончик шейного платка. Пауза была томительно длинной. Наконец, Ханжин утвердительно-коротко хмыкнул. Быстро подошел к аутлету и нажал сигнальную грушу домашнего аудиовода:

— Мадам Шеломицкая, суп из акульих плавников придется отложить… на неделю.

Мадам на той стороне линии разочарованно забулькали.

Я перевел дух и развел скрещенные до того пальцы. Приключения начинаются.

* * *

Небольшого росту кондуктор в поношенной, но чистой униформе ловко вспрыгнул на подножку экспресса. Вагон плавно качнулся на паровой подушке. Трель свистка была такой неожиданно резкой, что, казалось, сорвала капли конденсата с зеленых маслянисто-влажных стен вагона класса люкс; те градом

посыпались сквозь плотные клубы пара на насыпь.

Локомотив коротко рявкнул в ответ свистку. Экспресс легко отчалил от перрона, ускоряясь с каждым мгновением. Пар скрыл здание вокзала и редких провожающих.

Я откинул спинку сиденья, открыл небольшую затейливо расписанную дверцу в стене и достал оттуда гибкие трубки аудофона. Косточки на концах трубок удобно легли в ушные раковины; немного поколдовав над выбором музыки, поочередно открывая и закрывая крохотные заслонки на дюжине медных трубок за дверцей, я нашел желаемое (двенадцатую симфонию Гершеля) и расслабился в коконообразном кресле.

Мичман в парадном комбинезоне с иголочки, сидящий напротив Ханжина, снял щегольски заломленную «таблетку»-шляпу и якобы небрежно повернул к цивильным нарукавную нашивку.

«Вторая Дунайская Флотилия Малых Броненосцев», прочел я на ней. Ниже на рукаве мичмана красовалась эмблема отряда, в котором он служил: скрещенные лучи прожекторов исходящие от двух плоских, как блин, мониторов. «Шмели жалят семирожды», гласила надпись по кругу.

Ханжин пренебрежительно дернул плечом и прикрыл глаза. Неприязнь сыщика к военным была мне хорошо известна. Я же считал себя армейскою костью, и имел для этого все основания.

Бур-аргентинская война двенадцатого года напитала Европу угаром романтики и лихого геройства. Поддавшись зову азартного своего сердца, я забросил практику в Армавире и отправился в Намибию. Королевские войска поначалу побеждали, напористо прижимая к океану плохо обученные, но превосходящие их числом десантные отряды «мараниллас», наемников Аргентины, отребья Южной Америки. Английские офицеры стали невероятно популярны у дам Дурбана и Йоханнесбурга; не меньшим вниманием пользовался на приемах и некий русский доктор.

Приемы постепенно сошли на нет по мере того, как настырные мараниллас перешли на полу-партизанскую войну. Англичане и их Пятый Интернациональный Корпус, к которому я был приписан доктором полевого шпиталя, были совершенно не готовы к такой возмутительной наглости. После серии ошеломительных побед аргентинцы усадили Корпус в плотный котел под Йоханнесбургом, откуда живыми вырвалось лишь около двух сотен конных — отстреливаясь, они унесли на рысях в ночь саванны русского доктора, метавшегося в горячке от шрапнельной раны.

На этом мои военные приключения не кончились.

Пренебрегая деньгами ради бравады, размеренной жизнью участкового доктора ради варварски-примитивной, но спасающей жизни практики в военных госпиталях, и семейным счастьем ради мимолетных, но пылких увлечений, я прошел на гребне освободительных войн сквозь всю Африку до Марокко, откуда погрузился на последний пароход, увозящий остатки зуавов во Францию… с тем, чтобы через три недели очутиться в Индии и уже воевать против своих бывших однополчан на стороне сипаев. «Рюска», как звали меня индусы, переболел малярией и желтухой, вытащил с того света сотню-другую темнокожих сынов Шивы (я часто шутил, что из того количества рук и ног, что я оттяпал в течение своей индийской эскапады, можно было бы спокойно соорудить отряд в сотню сабель…) и в итоге вернулся в Россию, которая в это время уже с головой ввязалась в Балканский военный конфликт.

Патриотическое мое сердце дрогнуло, и я все же пришел на сбор-пункт. Меня отправили домой; состояние здоровья оставляло желать лучшего: огнестрельные, колотые, рубленые раны, контузия, плюс перенесенные тропические болезни. Странное чувство, с которым я вышел из сбор-рункта, любой назвал бы облегчением, но кавалер шестнадцати орденов и медалей армий девяти стран мира был задет. Дабы не дать воли непонятному чувству, я с радостью ввязался в драку с парой подгулявших служащих цепеллин-компании «Изяславль», которым не понравился издевательский смех цивильного пижона по поводу названия их компании, вышитой золотом на нагрудных карманах.

Высокий, гибкий и весьма умелый в рукопашной схватке господин, который едва сумел угомонить меня, когда я истово охаживал тростью непутевых службистов, оказался Всеволодом Ханжиным.

Так мы познакомились.

* * *

Лужи большими черными кляксами расплылись на станционной платформе — в них отражалась перевернутая кромка лесной чащи.

Мичманок оказался на редкость нагл и в итоге нарвался. Мой напарник справился с ним один, пользуясь приемами исключительно консервативной борьбы Кушти. Но без «потерь» не обошлось…

Ханжин, зажав под мышкой трость с тускло поблескивающим

набалдашником-черепом, прикурил сигариллу. Он был без шляпы, и потому досадливо наклонил голову, чтобы волосы не попали в пламя зажигалки. Недовольства на его худощавом скуластом лице не видно: глаза прикрыты круглыми очками с затемненными стеклами. Но я чувствую его.

— Бросьте, Ханжин! Вы слишком серьезно реагируете. В сущности, ведь это пустяк…

Сложив губы трубочкой, он выпустил клуб дыма.

Взгляд блестящих раскосых глаз поверх очков гальванизировал. В его лице есть нечто ордынское, а в зрачках мерещился отблеск пламени горящих городов, стали наступающих конных армад.

— Вы же знаете, Брянцев… — начал он наждачным, с крошками металла голосом, но тотчас отвлекся; складки у носа и губ теперь сложились в презрительную гримасу. Это характерно для Ханжина — переброс внимания всегда сопровождается сменой выражения лица. Я проследил его взгляд. В запыленном окне одноэтажного здания, которое язык не повернется окрестить «вокзалом», хмурой луной светлело поверх горшка с фиалкой лицо скучающего телеграфиста. Он смотрел на нас глазами снулой рыбины, подперев отвисшую щеку кулаком. В этом жесте и этих глазах степень такого крайнего равнодушия, что кружилась голова.

Боги, куда нас занесло?!

— Как врач, хочу отметить, что на протяжении нескольких последних лет не раз уже замечал за вами подобные нервические…

Ханжин не слушал. Задрав непокрытую голову к небу, он смотрел сквозь темные очки на низкие тучи. Хмуро жует сигариллу.

Экспресс завершил миссию на станции, выплюнув нас на платформу. Его зеленая гусеница, шипя от презрения, сдвинулась с места.

Я решил расставить точки:

— Потеряли шляпу, эка важность. Ну, унесло ветром в разбитое окно… Зачем же так себя растревоживать?

Я пригладил затянутыми в перчаточную кожу пальцами короткие усы, скрывая тем самым улыбку. В самом деле, подумаешь!

— Я переживаю не из-за шляпы, — скривился Ханжин. — Вы только поглядите…

Он показал мне разорванный по шву рукав пальто.

В ответ я хотел было развести руками, но в левой у меня неизменный спутник — потертый докторский саквояж из кожи

«кэттл», подарок Дого Мбуа-И'Боте, лидера племен матабеле, память о лихих днях в намибийском вельде. Поэтому я лишь неопределенно повертел в воздухе пальцами правой. Вот поэтому, хотелось сказать мне, борцы Кушти никогда дерутся в пальто.

Собственно, они их и не носят.

— Послушайте, Брянцев, вы верите в мойр?

Улыбка отклеилась от моих губ. Нет сомнений, мне не дано — никогда — в полной мере понять и оценить невероятный мыслительный механизм Ханжина. Умение его перескакивать с темы на тему, балансируя, как канатоходец, на тончайших ассоциативных ниточках, неизменно поражает меня. Поражает или раздражает — с этим я не определился до конца. Но факт в том, что из всех людей, с кем в той или иной мере контактировал Ханжин, лишь я оказался в состоянии регулярно мириться с безумной скачкой его логики.

Похоже, его раздражение от неудачно проведенного приема «бандеш» растворилось. «Бандеш» и стал результатом порванного рукава. Мы тренировали прием неоднократно, на густом персидском ковре возле камина, у нас на Пекарской. Ханжин, необычайно способный к единоборствам, добился выдающихся успехов. Но «бандеш» ему упорно не давался.

Потеря шляпы к рукопашной не имела отношения — ее унесло ветром, однако Ханжин по детской своей вредности был готов списать все огрехи мира на неудачно проведенный захват.

Он терпеливо смотрел на меня, ожидая ответа. Ах да, мойры:

— Вы же знаете, Ханжин, как и большинство людей моей профессии, я — отпетый материалист. К чему, собственно, вы спросили?

Он медлил с ответом, разглядывая чернильные лужи платформы.

— Если мельница в самом деле такая старая, я бьюсь об заклад, что слухи об этих дрянях в ее озере — не преувеличение. А еще сейчас подумалось, нет ли в этом некоей издевки судьбы? Оказаться за тридевять земель от нашей уютной квартиры на Пекарской, посреди каких-то древлянских пустошей и волколачьих лесов. Царство комаров и тумана. И эта безобразная драчка с фальшивым мичманом… Но шляпа — это уже слишком! Черт, как же она мне нравилась! Без нее я чувствую себя так, как если бы, не надев защитных перчаток, проводил эксперимент с царской водкой и липовым золотом… Понимаете, что я имею в виду? Впрочем, не обращайте внимания. Все это оттого, что вы отобрали ампулы, которые я получил от Байльштайна прошлым летом. Надеюсь, не станете отрицать, что если бы не содержимое тех славных ампул, я не смог бы вычислить и задержать Мясника-

Бармашова!

— Ханжин, ведь мы уже не раз… — я надеялся, что нам больше не придется возвращаться к тому трудному, но необходимому разговору. Приятель Ханжина, баварский пивовар и по совместительству доморощенный химик, повадился снабжать моего друга вариацией героина, которая превращала его в монстра сыска. «Монстр» в этом определении отнюдь не относится к положительному качеству.

Он прерывал меня движением ладони:

— Нас встречают.

Моя правая рука скользнула в карман пальто. После стычки с тремя налетчиками в экспрессе я готов к любым неожиданностям.

Похоже, я напрягался зря. Паренек, одетый шоффэром, шел по платформе. Выняв руку из кармана, я щепотью поднес ее к шляпе в приветственном жесте.

Ханжин приветливо помахал шоффэру, с легкостью переходя на сленг механистов-«клепальщиков»:

— Стима риветхедам! Парень, в вашем городе найдется, где загрузить топки лютым угольком?

Юный шоффэр останавливился и поднял гогглы на высокий лоб. Я едва сдержал возглас удивления. Перед нами дама. Она очень хороша собой, но в лице, почти не тронутом косметикой — ни кровинки. Веки ее покраснели, под глазами глубокие тени, как бывает у людей страдающих долговременной бессонницей. Она будто героиня репродукции Фрагонара, выцветшей почти до полной потери цвета.

— Господа, вы, должно быть, Ханжин и Брянцев? — сказала дама. Голос ее мелодичен, но маловыразителен. Зная, какая драма сейчас развивается в семье Усинских, я симпатизировал ей.

— К вашим услугам.

Ханжин с достоинством наклонил голову; я приподнял шляпу.

— Я — Анна Усинская. Это я вызвала вас.

— Прошу извинить, — сказал я. — Ваш наряд ввел нас в некоторое заблуждение.

— А, вы про этот маскарад, — она едва раздвинула в улыбке побледневшие губы. — Я закончила в губернии водительские курсы. Знаю, столичных жителей сложно шокировать. Но у нас женщина за рулем *стимходки* всякий раз привлекает излишнее внимание. Кстати, — она кивнула Ханжину, — я на малом ходу скриплю по механке.

— Выхлопнулось без копоти, госпожа Усинская! — признал Ханжин, поправляя очки.

Собирание и систематизация разнообразных профжаргонов и

сленгов интересуют сыщика столь же сильно, как графология или судебная антропология. Он рад любому поводу попрактиковаться и рад встретить человека, способного оценить его владение предметом.

— Вы, наверное, проголодались, господа, — сказала Усинская. Я бросил взгляд на моментально воспрянувшего духом Ханжина. — Пожалуй, я отвезу вас в ресторацию, «Полдень Филиппа».

* * *

…Мы едем на стимходке с откинутым верхом прочь от станции, навстречу городку Смуров. Усинская ведет аппарат уверенно, небрежно контролируя рукоять поворота левой рукой. Дорога, которую в здешних местах называют умилительным словом «шасейка», то режет ножом аппетитные ломти спелых нив, то петляет в чаще угрюмых вековых древ, с которых вот-вот, кажется, спрыгнет Соловей-Разбойник вкупе с Робин Гудом… Дождь, уверенно обещанный скопившимися ранее тучами, так и не разразился. Истомившиеся тяжелые колосья ржи устало клонились долу на полях. Подивившись тому, что сорняков на делянках видно не было, я внезапно подумал, что сейчас не время для спелых хлебов; что-то не совсем складывалось в окружающем пейзаже, и я хотел было спросить прелестницу-мещанку о резоне для здешнего раннего урожая, но раздумал. Повод для молчания давал оглушительный треск и кашель двигателя, а также густые клубы пара, норовящие набиться в ноздри и глотку. Дабы предотвратить удушение — каким бы кажущимся оно ни было — мы прикрыли лица шейными платками, завязанными на затылке. Но, похоже, Усинской эта феерия дыма и пара вместе с какофонией звуков очень нравилась: в моменты, когда она поворачивала голову к нам, я видел, как широко открывались трепетные ее ноздри, сладостно втягивающие газообразную отраву из воздуха, а глаза слегка подкатывались кверху, выражая высшую степень экстаза.

Ханжин нетерпелив. Я знаю его несносные манеры и поэтому сижу молча. Перекрикивая адское моторное создание, он пытается говорить с госпожой Усинской. Это дается ему нелегко. Неловко переламываясь через лежащий на его коленях саквояж, он что-то кричит в затылок девушке, но я не могу понять, что именно. Ловя отдельные слова, я в целом понимаю, о чем Ханжин пытается расспросить тугой узел волос под кожаной фуражкой.

Они говорят о ее брате, Мстиславе Усинском. Таких, как он,

по Ханжину, у нас в столице кличут «региональным заправилой» (странное словосочетание, доложу вам я).

Впрочем, Усинский, судя по всему, личность гораздо более сложная, чем может показаться на первый взгляд. Человек широких взглядов и большой космополит, он владеет Смуровской водяной мельницей, возраст которой близится к четырем векам.

Ханжин не подает виду, что он знает о мельнице, Смурове и Усинском куда больше, чем это представляется Анне.

Подобно тому, как вся жизнь Империи коловращается вокруг бюрократических институтов и правящей Династии, ось этой мельницы пронизывает самоё суть Смурова — от снабжения энергией до невероятного количества «забобонов и нисенитниц», суеверий и вздоров (местные словечки густо пересыпают и без того мусорно-насыщенную риветхэдовским жаргоном речь Усинской; моментами она забывается, и правильные, округлые обороты институтки Смольнинского Лицея рвут кружево сленга), от кристально чистой, здоровой воды до развития экономики механизмов, о которых наш шоффэр говорит с особым жаром. Огромная масса всяких колесно-механических штуковин, за счет которых растет благосостояние города, зависит от бесперебойной работы мельницы Усинского, поясняет она.

Мои спутники тщатся поддерживать беседу, а стимходка, тарахтя и плюясь серым паром, держит путь через Смуровские предместья. Мимо нас плывет тот самый пейзаж, что не может не греть душу утомленного странника, пред чьим взором представали выжженные солнцем африканские саванны и душные влажные джунгли, унылый океанический простор и каменистые зазубренные скалы чужих берегов.

Наконец, мы въезжаем в Смуров. Я утомлен, голова раскалывется от шума и горечи паро-дыма. То ли чудится мне, то ли кажется…

Здесь дождь, похоже, все же прошел. Я вижу извилистые, круто поднимающиеся и опадающие вниз, так что сосет под ложечкой, брусчатые улочки. Вижу утопающие в кустах *рясно* цветущей сирени и шиповника купеческие дома и дома зажиточных горожан, через заборы которых тянется черноплодная рябина, и бузина, и груши, и яблони, и сливы. Вижу оплетенные хмелем высокие воротины и телеграфические столбы, оклеенные размытыми от дождей объявлениями. Вижу лопоухих кудлатых дворняг, спешащих по важным шавкиным делам, и чумазых мальчишек, пинающих посередь улицы облепленный грязью мяч, стараясь избежать многочисленные лужи — мчась по ним, мы поднимаем веера радужно переливающейся воды. Вижу лузгающих жареные в масле маковые головки парней и молодок.

Они или сидят, паруясь, на каменных, гранитного происхождения, трехблочных *наступках* у входов, или гуляют в обнимку по улицам: парни — с дерзко заломленными на бритые затылки картузами, девицы — в пестрых шалях, в которые они кутают трепетные перси, мечту картузоносителей…

Вижу вечерние картины чужой уютной жизни; семейство пьет чай под липами, на сочные ломти разделан свежий арбуз, истекает пòтом латунный бок самовара. А вот конопатый юнец (как знать — не будущий ли Ломоносов или Пушкин?) со смехом пускает с крыши голубятни навстречу низким облакам жирного, бешено хлестающего крыльями сизаря. Над оврагами и холмами разлетается отзвук гармонии, раскатистый и хмельной, цепляющий за что-то внутри грудины, за то, что глубоко упрятано под твидовым импортным костюмом. Тающим золотом искрятся пузатые луковицы церквей, алые блики пляшут на изгибах речки-Смуровки, трещат сумасшедшим оркестром цикады, да в чьем-то незатворенном окне гибкие быстрые пальцы (не видишь их — но представляешь так ярко!) наигрывают гаммы полонеза Огинского, что причудливо переплетаются с мелодией давешней гармонии.

И вспоминаешь строптивого поляка, его вызов Империи и то, что само название того самого полонеза «Прощание с родиной» — как вызов и крик подбитой с лету куропатки. И думаешь про себя — стоило ли кричать, пан Огинский? Вот же она — Родина. Твоя ли, моя ли, наша ли с тобой общая? Дело не в том, чья. В том — что жива, что процветает и здравствует…

Мне ли судить гениального спесивца? Сколько дорог я сам исходил, сколько избил сапог на чужбине? А все равно: трогает и манит. И, кажется, ничего слаще нету для изголодавшейся души — такого тихого, гомоном шмелей полного, постылого и сладкого, провинциального *родинного* вечера…

Я расчувствовался не к месту.

«Полдень Филиппа», двухэтажное здание, смесь кабака с гостиницей, главная местная ресторация, появляется неожиданно.

Усинская лихо выдергивает жезл-заводку, и чудовище механизации, напоследок изрыгнув остатний клуб пара, издыхает до следующего запуска. Мне даже почудилось, что машинерия издала протяжный драконий стон — вот, мол, и покатилась очередная моя голова…

Стайка пацанят, завистливо-робко толпясь в почтительном отдалении от нас, с обожанием пялится на пижонский наряд прелестницы-шоффэра. Следует лихорадочное шушукание, и стайка выталкивает афронт огольца в изумрудно-зеленых никербокерах, который чисто-звонко орет куплет частушки, явно адресованный Анне:

Со стимходчиком спозналась,
На пару́ каталася!
На Глинька потом нарвалась —
Шибко испужалася…

Пацаны рассыпаются дробью язвительного смеха и улепетывают что есть сил, потому что Усинская хмурится и кусает бледные губы, при этом сделав быстрый шаг в сторону нахальщика.

Ханжин, стащив с лица платок в черных пятнах копоти, спрашивает Усинскую:

— Глинько? Я не ослышался — он спел «*глинько*»? — Ханжин точно отразил местную гласную, звук, нечто среднее между «ы» и «и», предварённый мягким малоросским «хг», в этом странном слове.

— Да будет вам, пойдемте лучше в ресторацию, — неловко отмахивается девушка.

Дощатый пол заведения густо посыпан свежей стружкой. За небольшими столиками громоздятся местные жители, пестро одетые и представляющие собой колоритные провинциальные типы.

В углу провозглашает громкие тосты, пересыпаемые словечками местного диалекта, компания «золотой молодежи». Их причудливые одеяния сочетают отсылающие к историческим корням области «панские кафтаны» с гогглами, высокие шоффэрские краги с потемневшими от времени фамильными саблями в расписанных басурманской филигранью кожаных ножнах. Пьют за странного человека, сидящего во главе стола и посылающего собутыльникам взгляды столь же светлые, сколь и бессмысленные.

— Державин, — Анна улыбается, кивая на виновника, по-видимому, торжества. — Про него, господа, будет вам отдельная история… — Мы готовно молчим, хотя в лике местного дурака и мне, и — явно — Ханжину мерещится нечто знакомое.

Но что?

Шурша опилками, мы подходим к стойке, занимаем места на высоких стульях.

Дородная женщина, хозяйка, с готовностью устремляется лично обслужить приезжих. Выносит нам меню, при этом попеременно бросая взгляды то на нас, то на компанию в углу, и весь ее облик говорит «Как бы чего не вышло».

Мне знаком подобный взгляд…

Полистав книжицы меню, мы все дружно заказываем салат с говяжьим языком, солеными огурцами, помидорами и сыром, изрядно сдобренный зеленью и соусом «инконез». К салату я присовокупляю омелетто на сале с «грибным пыльником», Анна — жареные баклажаны с сырной начинкой, а Ханжин — рыбное ассорти, где находится место для слабосоленого филе семги и красной икры, а также рыбы-масляк холодного копчения.

Из напитков мы, доверяя вкусу Анны, выбираем «биррагу», местное темное пиво.

И ждем. Нет, не подачи блюд, хотя мы изголодались и устали в пути.

Ждем того самого «как бы чего».

Крик буревестника заменяет раздающийся в углу многоголосый взрыв смеха. Дурной, с нотами вызова и презрения.

За подрагивающими в такт хохоту перьевыми плюмажами магерок, за широкими спинами, обтянутыми апельсиновыми, канареечными и малиновыми одеяниями, которые вызывают в памяти ёмкое определение «жупан», заметны суетные движения упомянутого нашей клиенткой Державина.

Давешняя его прострация сменилась чередой обезьяньих ужимок, сопровождаемых бурной жестикуляцией и бормотанием. Монолога за хохотом и восторженными «добжэ! добжэ!» сотрапезников мне разобрать не удалось. Взгляд — против воли — притягивают пляшущие синеватые губы, роняющие бисеринки слюны, открывающие то неровный частокол оскаленных прогнивших зубов, то одурелой змейкой мечущийся язык. Уродливый шрам, не то от шпаги, не то от ножа, в виде положенной набок буквы «А», топорщит шею пониже левой скулы.

Зрелище отнюдь не разжигает аппетит, но мне приходилось столоваться еще и не в таком окружении.

На Державине, как и на остальных, подобие шляхетского кафтана, но заметно выцветшего, виды видавшего и не сказать, чтоб чистого. Меховая оторочка напоминает о недавно виденной на перроне столичного вокзала рекламе эликсира для роста волос «Chewey Extra».

Когда смех стихает, начинается новое действо. Бросаемые через плечо жадные взгляды подсказывают, что наше присутствие замечено.

У стола местного «паньства» встает, цепляясь ножнами за скамью, худощавый отрок в убранном кистями вишневом долимане. Великоватая кунья рогативка съезжает ему на конопатый нос, но поправить ее не выходит, ибо заняты руки: левая крепко сжимает эфес, правая возносит над столом рюмку в подобии римского салюта.

Адресуясь, безусловно, к нам, ломающимся басом изрекает, молодечески ударяя по последним гласным:

— Можэ выпие пани келишэк вина?

Интонация предполагает продолжение, и оно не заставляет себя ждать. Издав некий всхлип, долженствующий означать ироническую усмешку, отрок басит на весь зал:

— За нашчэ и вашчэ вольносьц!!!

Покачнувшись, вознаграждаемый новым взрывом смеха и одобрительными возгласами, оратор подносит рюмку к иронически поджатому лягушачьему рту. Пьет, лихо откидывая голову, едва не роняя головной убор.

Ханжин с любопытством следит за моей реакцией. Смешливые лучики морщинок в сочетании со скудным освещением теперь придают ему сходства с героем пекинской оперы, выступающим в амплуа «чоу».

— Прошу извинить, госпожа Усинская, — говорю я. — Мне решительно необходимо уточнить кое-что у сиих молодых людей…

Я неспешно направляюсь к потешающейся компании.

В зале повисает напряженная тишина.

Меня встречают предвкушающими стычку ухмылками. Лицо Державина, чья роль за столом явно сводится к шутовской, внезапно приобретает выражение осмысленности. Это компенсируется тонкой ниткой слюны, пускаемой с подбородка на облезлые шнуры.

Скрипят отодвигаемые скамьи, стукают о столешницу допиваемые залпом пивные кружки, поспешно докуриваемые «саморосы» (папиросы-самокрутки) вонзаются в пепельницы, бряцают под столом ножны… пятеро подвыпивших молодцев охотно подымаются мне навстречу.

Не люблю проповедовать дуракам. Но бывают такие глупые ситуации, которые просто невозможно игнорировать.

— Запрашам пана до шебе! — цедит, подрагивая двойным подбородком, по-поросячьи полный юноша, чьи малиновые брыли оттенком под стать кафтану.

Дурачок Державин, с шумом подобрав слюну, пускает по лбу морщины. Белесые брови недоуменно встопорщены, бесцветные глаза нацелены куда-то мне на галстук, а синюшные губы вновь движутся, пляшут. Невнятное бормотание вдруг срывается на истошный визгливый крик:

— ДЕРЖИ-И-И!!!

Кажется, от этого вопля в окнах дребезжат стекла, меркнет свет и заполошно вздрагивают все присутствующие.

Оказавшийся на моем пути толстяк в малиновом кафтане

меняется лицом. Вместо оплывшей улыбки в нем появляется нечто монстроподобное. Взаправдашняя, черная ярость, совершенно необъяснимая и никак не чаемая.

Пятерка храбрецов кидается на меня.

Это никак не соответствует мизансцене, и на мгновение я чувствую иррациональное раздражение. Все происходящее кажется неправильным, диким, будто грезящимся в маетной дремоте перед самым пробуждением…

Но у меня кое-что имеется в ответ на иррациональность вызова.

Ладони автоматически ныряют под полы пальто, из потайных футляров телячьей кожи показываются на свет верные «лепажи» — набыченные лбы *танкетас*, емкостей с горючкой, демонические рожки клапанов, жаляще-тонкие каналы брандспойтов…

— Советую прикрыть глаза, — меланхолично бросает за спиной Ханжин, адресуясь, видимо, к Анне — или ко всем присутствующим.

Ему уже приходилось слышать, какой дьявольской музыкой звучат «лепажи».

Я бы с удовольствием понаблюдал из амфитеатра, если бы я не был действующим лицом стычки. Вены бурлят в предвкушении действа…

И-и-и!

Грохот опрокинутых лавок, звон разбитого стекла, вопли испуганных обывателей, ставших свидетелями феерии. Дико звучащая ругань, чередующая щегольство местных диалектов с циклопической мощью русского мата.

Я стою посреди ресторации, поводя из стороны в сторону «лепажами», чьи узкие брандспойты с хищным свистом извергают в сторону потолочных балок пару густых огненных струй. Я, безусловно, не хочу оставить от нападавших горстки пепла, и использую метод «предупреждающего внушения», как гласит часть инструкции, которая определяет также «потенциальную степень поражения»… французы — мастаки по инструкциям.

Сквозь грохот и брань спешно покидающих кабак цветастых жупанов доносятся хлопки ханжинских ладоней — единственная награда факиру-любителю.

Кажется, в лондонских андербриджах подобные представления именуют *флейрингом*.

Морщась от бьющей в нос удушливой выхлопной гари, я сдуваю темные клубы с «жерл умолкнувших орудий», как пелось в зуавской песенке.

Обернувшись, ловлю сквозь расступающиеся занавеси паро-

дыма восторженный взгляд Усинской, и, неожиданно для самого себя, чувствую, что мне это льстит.

В образовавшемся звуковом вакууме, нарушаемом поскрипыванием распахнутой настежь входной двери да шипением разлитой по полу пивной лужи, в которую угодила чья-то оброненная самороса, деликатно покашливает хозяйка заведения.

Я ловлю взгляд Ханжина. Трезвый, с искринкой. Если верить этому взгляду, платить по общему счету, включая учиненный отступающей шляхтой разгром, предстояло мне.

* * *

После неудавшейся трапезы в «Филиппе» мы вышли на улицу.

Наша *патронья*, на которую я глядел теперь с совершенно другим резоном (и, по непонятной причине, украдкой), была, похоже, раздосадована эскападой разноцветных жупанов.

В этом было что-то от смуровского отчизнолюбия; кажется, она всерьез переживала из-за того, что первое знакомство наше с горожанами имело такой скандальный привкус. Будто она забыла на миг, что мы и не гости вовсе, и мрачная цель нашего прибытия тенью своей перекрывает любые недоразумения. В то же время мне почему-то хотелось слышать в ее голосе и оттенки совсем иного волнения, об истоках которого я запретил себе думать, но при мысли о которых чувствовалась непривычная гулкость сердцебиения.

Наконец, стимходка, управляемая нашим прелестным шоффэром, достигла усадьбы. От полураскрытых ворот с вензелями вглубь уходила погруженная в тенистый сумрак аллея, засыпанная гравием. Проехав примерно половину мрачного пути — и не в парке даже, но в некоем, навевавшем дантовские ассоциации, сумрачном лесу, — в просвете клонящихся ветвей мы увидели поместье.

Спроектировано оно было в некогда модном псевдоготическом стиле. Сочетая нарочитую суровость крепостных стен из грубого кирпича насыщенного вино-красного цвета с контрастно тонким и ярко-белым декором стрельчатых арочных проемов, аркатуры фриза и аттиков, многоцветные витражи и острые шпили призваны были подчеркнуть общий романтический дух архитектурного проекта.

При том меня не оставляло ощущение, что неуловимой пластикой своею, деталями убранства, пропорциями, здание выглядело плотью от плоти этой земли, издревле укорененным на

этих болотистых землях родовым гнездом. Наверное, именно из-за этого, невзирая на обманчивый флер западных традиций, здание так и просилось называться *маетком* — и никак иначе.

— Анна Игоревна, государушка! — встречая нас, частил взволнованно старик в ливрее. — Вы бы хоть сказали Мстислав Игоревичу… ведь что делает, страдалец! Как изводится, ей-Богу! Все на *аппарате* своем — только пар столбом, да смотрит так страшно — сердцу томно! Что ж такое деется-то, матушка…

— Полно, Ерофей, не части, — успокаивающе ответила Анна. — Что там за напасть?

Не могу не заметить, что сдержанная строгость пусть и не полновластной, но хозяйки дома, была ей к лицу, как и шоффэрский жаргон. Впрочем, по мне — ей все было к лицу…

— Убивается кормилец нас, на машине своей бесовской, вы поглядите только что делает, господа любезные! — продолжал причитать Ерофей, теперь вовлекая в свои переживания и нас.

…Шаркая чувяками, освещая сумрачные переходы галогеновым фонарем, Ерофей ведет нас куда-то в темноту и вниз, в потаенное сердце родового гнезда Усинских.

Фонарь выхватывает кабаньи рыла, мохнатые морды зубров. На потемневших от старости медных щитах навек застыли, мерцая стеклянными глазами, царственные лоси и сморщенные в оскале волки, вывалившие восково-спелые языки.

В призрачных отсветах галогена гнутые спинки венских стульев сменяются облупленным колесом антикварной прялки, а поставец с изукрашенными тонким орнаментом филенками вытесняют бело-голубые изразцы голландской печи.

Порой показываются конструкции совершенно неизвестного мне назначения, которым уместно было бы гордо стоять в павильонах Нижегородской Технологической Выставки, дразня недоверчивого иноземного атташе превосходством отечественной инженерной мысли.

Тут было впору заблудиться.

Но вот тьма расступилась, и перед нами открылся ярко освещенный зал.

Я замер: Агесандр Родосский позавидовал бы такому типажу.

Мощный, атлетически сложенный мужчина, голый по пояс, с торсом в искрящемся бисере пота, вступил в неравную борьбу с черными жгутами резиновых змей. На том месте, где в скульптурной композиции полагалось быть сыновьям, все шипело, ухало, лязгало и пыхтело; поблескивали латунью небольшие крутобокие котлы, размеренно двигались поршни, на круглых циферблатах подрагивали стрелки.

Анна решительно подошла к чудовищному агрегату и

потянула рычаг останова конструкции.

В обиженном шипении и подвывании замедляющего ход аппарата послышался ее строгий голос:

— *Стисл*, у нас гости!

С шумом отдуваясь, мужчина выпростался из опутавших его руки жгутов и, подхватив с одного из выступавших рычагов полотенце, промокнул им лицо, голову и мощный торс. Обтираясь, он обратился к нам хрипловатым, чуть запыхавшимся голосом:

— Прошу извинить меня за неглиже, господа! Согласитесь… Каждый по своему справляется с испытаниями, которые посылает нам судьба. — он наклонил голову: — Усинский Мстислав Игоревич…

Мы с Ханжиным представились.

— Дивная машина, право… — сказал Ханжин, с любопытством оглядывая агрегат.

— Экзерсисная машина, господа. Аргентинская сборка, конструкция Арнолднеггера — Силвестрони… Помогает даже человеку моих преклонных лет поддерживать комплекцию, или шейп, как новомодно глаголют по-аглицки.

«Преклонные года» оказались явно благосклонными к Усинскому. Пышущие жаром щеки, крупный нос римского укладу, шевелюра кучерявых волос, намокших от усердия. И — стать. Крупная, не по-знатному, кость, плечи борца. Полная противоположность сестре.

— Я в долгу перед нашими гостями: пригласила было их поужинать в ресторации, но, к несчастью, там гуляли *державинские*. И обошлось бы, возможно, да вот Кржижевский перебрал и стал нагличать… — Анна посмотрела на меня, блеснув глазами, — но господин Брянцев задал им урок, от которого было трудно отказаться.

Она в нескольких словах передала детали стычки «Стислу». Моя роль в ее переложении была явно более весомой, чем на деле — рассказ повеселил и Ханжина, и хозяина, но по разным причинам. Сыщик чувствовал зарождение взаимного интереса между прелестной шоффэриней и мной, а Усинский, похоже, был рад тому, что мы проучили «жупанников».

— Эта голота уже вот где у меня сидит, — он приложил ладонь к горлу. — Одни неприятности. Тормоза техногенной революции, скажу я вам. Вон мельница наша, сколько веков крутится, казалось бы, а и то как быстро мы ее приспособили к новомодным машинериям. Марыся говорила… — он осекся, как-то резко сник, словно сдулся. Накинув короткий атласный халат на голый торс, Усинский глухо сказал:

— Ганна, я надеюсь, ты не станешь возражать, если гости расквартируются в усадьбе? Господа, не сочтите за труд отужинать сегодня у меня… у нас… Ерофей, проводи гостей! — Он склонил голову и вышел из экзерсисной комнаты.

Мы с напарником обменялись взглядами. Выходило, что Усинский знал о найме Ханжина Анной. Ганной. Я мысленно попробовал произнести местное «хг» в начале ее имени. Получилось премило.

К ужину прозвонили в восемь.

Мы долго шли к трапезной в сопровождении все того же вездесущего Ерофея и его вечногорящего галогенного фонаря. Общая длина переходов и коридоров в маетке, похоже, приближалась к нескольким верстам. Таким же поразительным было гротескное сочетание самых современных машинерий с раритетными вещами и попросту рухлядью, натолканных в бесчисленных комнатах и анфиладах. Похоже, Усинский был тем еще Плюшкиным.

Трапезная, со овальным столом о двадцать четыре персоны, впечатлила даже столичных штучек вроде нас. Стол поставлен был не по центру, но в стороне, у стены, — похоже, хозяева (или хозяин) уважали танцы после обильных явств и возлияний.

Мы пришли первыми; Ерофей зажег рожки газового шанделира под высоким потолком, поколдовав немного над системой отражателей и силою подачи газа для того, чтобы насытить неяркий свет теплом, и затем тихо исчез. Отличной школы слуга, этот Ерофей.

Пока я с уважением и опаскою осматривал новомодную проекционную машину, Ханжин, сложив руки на груди, мерял шагами трапезную, дефилируя от стены к стене. Его беспокоила какая-то мысль, но я знал, что спрашивать бессмысленно, и постарался отвлечься, пытаясь запустить машинерию. Пружина была взведена, нужно было лишь найти, как включить агрегат.

— Это не совсем просто — инженеры на заводе слегка перемудрили, — словно читая мысли, произнесла Анна за моей спиной. Я обернулся; наша патронья была удивительно прелестна в темно-голубом вечернем платье, плотно охватывающем ее тонкий стан и свободно падающем складками к полу, скрывая изящность ног, в которой я уже имел возможность убедит… (в этот момент я закашлялся и поспешно отвел глаза).

Будто бы не заметив моей заминки, Анна подошла ближе и продолжила:

— Тут есть собачка, надо ее отжать, вот так, — она подалась вперед, ее волосы оказались в опасной близости от моего лица, опасной для меня, потому что мне нужно было собрать все силы,

чтобы не зарыться в их нежное благоуханье… Черт побери!

Адский агрегат подпрыгнул, затрепетал, словно живой, и испустил из недр луч ослепительно-синего цвета, который уперся в стену напротив стола. Объемные проекционные дагеротип-агрегаты были в новинку даже в столице, и я совсем не ожидал увидеть такой в смуровской глуши. Выходило, что Усинский вправду был, как говорят французы, «гранд орижиналь».

Проекция на стене была нерезкой. Я покрутил фазовку обеих линз, и…

Изображение мельницы было настолько реальным, что я едва не вскрикнул от удивления, но вовремя прикусил себе язык.

Снимки были сделаны почти на закате, судя по всему. Это добавляло мрачной торжественности сооружению, стоящему на берегу небольшого озера-запруды. Мрачно там было еще и потому, что мельница была словно втиснута в узкое пространство между скалами, и ее странно-гротескное, больше походящее на многогранный тульский самовар работы модного мастера Рогожина, здание, не имеющее окон, почти висело — по крайней мере, так казалось — на невероятно большом водяном колесе.

Эпические размеры колеса завораживали. Верхний край его уходил за кромку снимка. Древесина, из которой оно было сделано, потемнела от времени, покрылась слизью и больше походила теперь на камень или… металл?

— Очень похоже, — вполголоса, совсем рядом, сказал Ханжин. Положительно, мне следует контролировать себя получше: привычка разговаривать вслух как следствие головной контузии известна медикам…

Я вдруг осознал, что Ханжин исчез практически сразу после нашего прихода в трапезную. По блеску его демоновых глаз я понял, что отсутствие сыщика не было для него — для нас — беспредметным.

Некоторое время мы слушали увлеченный рассказ девушки о Смурове и его окрестностях, который сопровождался демонстрацией проекционных дагеротипов. Мы даже позабыли об ужине, равно как и о хозяине — настолько интересным и насыщенным фактами была история, рассказываемая Анной.

Последние несколько снимков имели прямое отношение к пропавшей хозяйке маетка. Анна быстро поскучнела, ее пояснения стали короче, отрывистее, и в какой-то момент она просто замолчала, глядя на автоматически переключающиеся дагеротипы.

Воистину, Марыся была красавицею. Усинскому можно и должно было бы позавидовать… Но она исчезла, и Анна имеет серьезные подозрения по поводу участи свояченицы.

Последний снимок привлек наше внимание: Марыся была запечатлена в группе господ на какой-то не то выставке, не то научном собрании. Она беседовала с узкоплечим мужчиной средних лет в пенсне, с залысинами и с окладистой бородой, расчесанной надвое ровным пробором. Мы с Ханжиным обменялись быстрыми взглядами.

Это был Анри Беккерель.

— Где, как вы полагаете, это снято? — ровным голосом спросил мой друг.

— Не знаю, — Анна покачала головой. — Марыся очень прогрессивная, она ездит… она ездила… — девушка опустила голову на мгновение. — на всякие научные совещания в Европу. Этот снимок сделан, как она говорила, где-то во Франции, она ездила туда месяца три тому, поговорить с…

— Ганна, наверное, достаточно кормить наших залетных соловьев баснями! — Усинский вошел, почти влетел в трапезную. Ему явно не нравилось, что сестра разоткровенничалась с нами о Марысе. — Простите, господа… дела, я слегка подзадержался.

Ханжин подобрался. Глаза его сузились. Он, кажется, готов был испепелить взглядом Усинского.

— Пожалуйте к столу! Ганна, гаси агрегацию! — ему явно не нравилось, что мы просмотрели коллекцию дагеротипов. — Эй, где вы там? Гаврюха, Пашка, подавайте, остыло небось все! — Он захлопал в ладоши, зовя слуг.

Я продолжал украдкой наблюдать за Ханжиным. Внезапно подумалось, что кратковременное отсутствие моего напарника и опоздание Усинского могут быть как-то связаны, но я прогнал паранойю.

Ужин удался на славу. Усинский изо всех сил старался произвести на нас впечатление, буквально наталкивая гостей изумительными по вкусу и изысканности яствами (вспомнился Причетт, что провел «вьязнем» несколько зим в маетках местной шляхты; случаи, когда проезжалые гости, что останавливались на день-другой у скучающих шляхтичей, и становились жертвами закармливания вусмерть, были не единичны в истории здешних краев).

И тем не менее, я пристально следил за сестрой и братом Усинскими. Анна, никак не желающая оставить подозрения и хотя бы для гостей поддерживать нейтральные отношения с Мстиславом, разговаривала с ним отрывисто-сухо, словно подчеркивая неприязнь. Она ежеминутно бросала на него испытующие взгляды, словно надеялась раскрыть таки образом тайну его поездки в ночь пропажи свояченицы, с грузом, который Анна считала страшным.

В момент, когда Усинский, подвыпив, стал вспоминать Марысю и, жалея жену, расчувствовался до слез, Анна не выдержала:

— Лицемер! Какой же ты лицемер, Стисл! Ты ее никогда не любил, она нужна была тебе для камуфляжа, для придания веса твоей жалкой фигуре, твоему ничтожному реноме в среде этих… этих… — она задохнулась от гнева. Анна была занебесно хороша, когда эмоции опаляли ее лицо, когда гнев красил ее щеки. — Ты всегда, всегда печешься только о себе, о роде Усинских, об этой проклятой мельнице! И женился ты на несчастной Марысе только для того, чтобы…

— Замолчи! Панове, пшепрашам, извините, Анна явно хватила лишку, не зважаме… не обращайте внимания, — путаясь, скороговоркой выпаливал слова Усинский. Бедняжка Анна вскочила, опрокинув при этом тяжелый стул, и с плачем выбежала из трапезной.

— Господин Усинский, ваше предпри… ваша мельница, насколько она финансово стабильна? — неожиданно спросил Ханжин.

— Что вы имеете в виду? — ошеломленно спросил магнат.

— Я имею в виду то, что владелец такого мощного, веками процветающего, натурально, — хмыкнул Ханжин, — … бизнеса не может обойтись без завистников. Итак — кто в городе спит и видит, чтобы выкрутить вам руки и лишить дохода… Вы же не станете утверждать, что все новомодные финтифлюшки и паровички в усадьбе куплены за понюшку? Значит, деньги мельница приносит приличные?

— Д-дда, в общем, жаловаться не пристало, — выдавил Усинский. Он побагровел. Похоже, подобная мысль не ночевала в его голове.

— Ну, а теперь давайте вместе подумаем, кому в городе приспичило бы насолить вам любым способом… пусть даже самым жестоким. Вплоть до похищения… или даже чего-то более радикального, простите. — Ханжин прикрыл глаза. — Вот, скажем, новоявленные деловари, или дельцы, индустриальной революции — у вас в Смурове же есть такие? Те, которые завидуют вашей энергии антрепренера, тому, что вы предприятие в почти полмиллениума возрастом сумели обернуть вокруг собственного пальца и сделать его прибыльным? Или вот группа эта, с которой мы сегодня схлестнулись в ресторации… или они слишком, как бы это помягче, *пацанковаты*? То есть, более литературно, мужланисты?

Усинский пожал плечами. Получилось это у него предельно неубедительно, и я подумал, что последует разъяснение, но…

Ханжин быстро прикрыл глаза. Я уловил, что по реакции Усинского сыщик понял — он попал в больное место.

Сыщик подошел к курио, к шкафу со стеклянными стенками, в котором хранился прелюбопытный экземпляр средневековых доспехов — сияющие позолотой насечки стальные латы… с огромными крыльями за спиною. Крылья были выполнены вполне реально, но даже без особого воображения было видно, что они несут скорее украшательную, чем утилитарную, функцию.

— А вы, господин Усинский, никак к гусарии Вишневецкого имели отношение? — живо поинтересовался сыщик. — Вернее, ваши предки?

Усинский стушевался по непонятной причине. Мне показалось, что он не полагал наличия энциклопедичности знаний истории местных краев у сыщика.

— Д-д-да… — выдавил он. — Усинские всегда входили в состав «Крылатых»…

Совершенно неожиданно в трапезную вновь ворвалась Анна, прервав брата на полуслове. Фурия в ней явно импонировала мне более, чем холодная рыба печали. Рыба-солнце.

— Вот! — она швырнула на стол перед Усинским письмо, лист, сложенный конвертом — со взломанной сургучной печатью. — Видишь? Это я обнаружила в своем бюваре, в ночь ее пропажи…

Ханжин опередил всех, схватив письмо. Вышло не совсем почтительно, но сыщику было наплевать на знаки приличия — он *работал*.

Вверху листа было написано: «Анна,».

Именно так — имя с запятой. Остаток листа был девственно чист.

— Почему ты скрыла это от полиции, от Лестревича? — теперь настала очередь Усинского для того, чтобы взъяриться.

— Потому что я тебе не верю! — выпалила Анна. — ты ускакал в ночь ее исчезновения, убедившись, что я сплю! А я не спала и видела, что ты увозил что-то верхом на Апаче, что-то ужасное, по виду похожее на… на…

— Труп вашей свояченицы, так? — холодно спросил Ханжин.

Истерика охватила Анну. Ее била крупная дрожь, зубы стучали похлеще кастаньет, и мне пришлось силой увести ее на турецкий диван в углу трапезной. Отодвинув непомерных размеров кальян, я убедил ее прилечь.

У стола меж тем разыгрывалась любопытная сцена.

Я заметил, что Ханжин в какой-то момент разговора ушел в себя. Он продолжал механически наблюдать за Усинскими, якобы внимая тому, что говорили брат и сестра, но я точно знал — мой

друг работал. Он был и здесь, в кабинете, и не здесь; это был тот редкий момент, когда вся мощь его мысленной силы, неукротимый локомотив его дедуктивного экспресса таранили загадку, о которой пока только он имел представление.

Вдруг он вскочил, выхватил письмо из рук помещика и быстрыми шагами, почти бегом, вышел из кабинета. В ответ на недоуменный взгляд Усинского я извинительно повел плечами.

Ханжин вернулся через пару минут. С листка, которым он торжествующе размахивал в воздухе, летели брызги. Похоже, он смочил поверхность бумаги вполне определенной жидкостью. Цвет капель и характерный запах, распространившийся в трапезной, не оставляли сомнений в происхождении этой жидкости.

Я онемел. Ханжин воспользовался туалетом для того, чтобы оросить письмо…

Усинский с негодованием приподнялся на стуле, но я решительным жестом остановил его.

— Вот, Брянцев, видите? Я знал, я догадывался!

В подобные моменты мальчишечье торжество в ордынских глазах сыщика всегда служило мне катализатором для собственного азарта расследования. Не обращая внимания на налившееся пурпуром гнева лицо помещика, я выхватил из рук Ханжина лист, который сочился янтарными каплями.

Чуть вправо от надписи «Анна,» и ниже, почти по центру, проступал рисунок, по всей видимости выполненный симпатическими чернилами. На рисунке, сделанном с трогательно-детской угловатостью и схематичностью, некое животное вроде собаки впилось зубами в ногу особи женского полу. В этом сомневаться не приходилось: фигура была одета в символическое платье.

Я разочарованно вернул листок Ханжину.

— И что?

Сыщик гневно взмахнул листом, отчего в воздух взлетела очередная порция капель.

— Ну же, Брянцев! Акро…

Меня осенило. Ну, конечно же!

Я снова впился глазами в рисунок. Ханжин пребольно стукнул меня в висок своим лбом, тоже наклонившись к бумаге.

Мы лихорадочно заговорили — одновременно, перебивая друг друга.

— Собака… — Нет-нет, не собака, видите, у нее морда короткая и круглая… — Кошка… — Да нет же, для кошки слишком зверь велик. — Старуха? Ведьма? — Нет-нет, скорее всего… (мы оба воскликнули почти одновременно) Бабушка!!! —

Дальше, дальше!

Ошеломленный Усинский наблюдал за нами, проглотив язык.

— Хорошо. Зверь — леопард? Лев? («Откуда здесь львы, вы в своем уме, Брянцев?») Ладно, а что зверь делает? Кусает? Кусает, да? Значит, лев («Да какой, к лешему, лев?!»), ну хорошо, зверь икс кусает бабушку. Получается пока, что… Да подвиньтесь же, Ханжин!

— Зверь икс — это тигр, — вдруг раздельно и отчетливо сказала Анна, которая незаметно встала с дивана и подошла к столу. Реакция Усинского была совсем странной:

— Замолчи! Не вздумай! — он совершенно потерял контроль.

Я и Ханжиг в один момент отпустили лист от неожиданности, и тот, тяжело перевернувшись в полете, очутился на башмаке Усинского. Брезгливо взяв бумагу двумя пальцами, он протянул ее Ханжину.

— Ну, хорошо же, — спустя некоторое время, в течение которого вся группа молча замерла в восковых позах, сказал магнат. — В общем, в свое время я жил в Сингапуре. Вернувшись из Юго-Восточной Азии, я привез с собою пару изумительных миниатюрных тигров-альбиносов, очень редких, с острова Сулавеси. Поначалу это было просто забавой, но потом я узнал, что в городе, или возле города, появились *вахлаки*, которые пытаются во что бы ни стало проникнуть на мельницу. И если я был спокоен за верхний путь, через ворота… Чертовы Ворота, — он неприятно улыбнулся, — то пробраться на мельницу через разлив, через заросли камышей, все еще было возможно.

Он покачал головой.

— И тогда я выпустил тигров в камыши. Они прижились. Странно, но на мельнице не бывает зимы. Даже если в городе и тем более в пуще хозяйничают лютые морозы, вода в затоке и в Смуровке ниже от мельницы по течению не замерзает. Камыши засыхают не от смены сезонов, а от старости, и поэтому заросли там исполинские. Ну, а когда молва стала упоминать тигров, мне стало куда спокойнее.

Он посмотрел на Анну.

— В ночь, когда ты видела меня скачущим прочь из маетка на Апаче, я вывозил не Марысю… господи, прости меня, грешного… а подохшего Анга, тигра-самца. Он повредил лапу, попав в капкан браконьера. Я пытался его спасти, вылечить, привезя в усадьбу, однако бедняга умер от заражения за день до пропажи Марыси. Я не мог больше держать его, — он поморщился, — труп… в подвале.

Я был поражен.

Магнат говорил о гибели зверя куда более прочувствованно,

чем о пропаже собственной жены. Похоже, Анна была права.

После паузы Усинский спросил:

— Что такое «акро»? — Он вопросительно поглядел на Ханжина. Сыщик нетерпеливо зачастил:

— Акромиметика. Способ шифровки. Глядите: тигр кусает бабушку. Три начальные буквы — Т, К, и Б. Буква — Т — двадцатая в алфавите, К — двенадцатая, и Б — вторая… получается 20-12-2. Вопрос теперь в том, что эти цифры могут значить…

— Код? Ключ к сейфу-цифровику? — Я начал лихорадочно менять цифры местами, стараясь найти хоть какую-то закономерность: — 12-2-20, 2-12-20…

— Стоп! Это — дата! — Ханжин подпрыгнул от радости. — Вот. Двадцатое декабря тысяча девятьсот второго года.

— А почему не двенадцатое февраля двадцатого года? — резонно спросила Анна.

— Не думаю, что Марыся обладала даром предвидения, — глухо ответил Усинский.

Мы вопросительно посмотрели на него.

— Н-ннет. Нет, я не могу припомнить ничего, что могло бы конкретно связать Марысю, или ее исчезновение… с этой датой, или с любым из возможных вариантов, — сказал помещик.

Какой-то нюанс, какая-то задоринка беспокоили меня. Пока Ханжин теребил Усинского наводящими вопросами, я старался понять, что именно не давало мне покоя.

— Не кусает! — Осенило меня.

— Что вас не кусает? — непонимающе спросил Усинский.

— Тигр, он не кусает, понимаете? Присмотритесь! Бабушка, — она мертва, понимаете? И тигр ее не кусает, он ее…

— Ест, — прошептала с ужасом Анна. — Он ее ест.

Ханжин нейтрально пожал плечами:

— Значит, буква Е. Это шесть. Июнь. Итак, двадцатое июня. Ну и?

Мы недоумевающе переглянулись. В самом деле, что дальше?

— Скажите, господин Усинский, а что у вас тут… снизу? — совсем невпопад вдруг спросил Ханжин, указывая на бронзовый диск в полу трапезной, величиною с блин приличных размеров; он походил на некую заглушку или люк.

Усинский безразлично наклонил голову.

— Подвал старинный, еще с иван-грозненских времен. У меня там как-то винный погреб был оборудован, но потом Марыся пожаловалась, что вина в нем киснут швыдко… быстро, — Магнат горько вздохнул, затем для приличия испросил, не желают ли уважаемые гости десерту, извинился и покинул трапезную.

Вечер завершился в компании с хорошим, выдержанным ржаным виски местного приготовления, мессопотамскими сигарами и играми ума в бесплодных попытках понять, что произошло двадцатого июня тысяча девятьсот второго года. Мы втроем — Ханжин, Усинский и я (Анна отказалась от присутствия, сославшись на головную боль) — сидели на веранде, позади гранд-здания усадьбы. Луна плавала яркими бликами на маслянистой поверхности содержимого бокалов, запоздалая птица сонно присвистывала в пене цветущей жимолости, и голова шла кругом не то от виски, не то от напряжения, не то от всеохватывающего аромата смуровского лета. Пение птицы слегка скрадывало монотонный шум невероятно сложной системы валов и маховиков, идущих от мельницы в Смуров. Для меня по-прежнему оставалось неясным, почему непреложные законы физики не работают в этом странном городе, но в свете возрастающего количества загадок и загрубленного алкоголем снижения предела их восприятия я (возможно, трусливо) отложил менее наболевшие «почему» на «после».

Чтобы отвлечься от чудес смуровской физики, я решил попытать моего напарника сегодняшней его эскападою с химией.

— А-а, это… Ну неужто я должен все для вас разжевывать, Брянцев! — Ханжин махнул рукой, словно педагог, огорченный глупостью ученика. — От листка исходил едва уловимый сульфидный аромат (меня перекосило при мысли об «аромате» сернистоводородной кислоты, но я промолчал), и я понял, что Марыся написала что-то на нем, пользуясь тайными чернилами, в состав которых входил сульфид натрия. А чем вы бы проявили сульфидные симпатические чернила? — Ханжин выручил меня из неудобного положения, ответив на свой же вопрос: — правильно, мочевиной, и еще железом, для закрепления. В тот момент я вспомнил, что сегодня за завтраком потребил яблоко… Нужно ли рассказывать дальше? — Сыщик торжествующе рассмеялся.

Стараясь не сильно концентрироваться на деталях, я в паре предложений пояснил помещику, что сидел, словно болванчик, с отвисшей челюстью, для чего Ханжину потребовалось оросить листок с рисунком в туалете.

…Перед тем, как отойти ко сну, я выторговал у Ханжина четверть часа на то, чтобы он поделился своими соображениями по делу — в обмен на обещание не храпеть. Хотя стенка между нашими комнатами смотрелась внушительно, Ханжин не питал особых иллюзий: мой храп, к его сожалению, обладал камнедробительным действием. Мы оба знали, что обещанию этому грош цена, но ему тоже не терпелось поделиться выводами сегодняшнего дня, и поэтому Ханжин согласился. Мы

воспользовались для этого комнатой сыщика.

Выкладки Ханжина сводились к следующему.

Он никогда не верил ни в Бога, ни в дьявола, ни в женские чары, ни в Имперскую армию. Вся болтовня о «проклятости» места, то есть мельницы, как считал Ханжин, — удачная попытка отвадить любопытных от провала в гранитном щите.

Соответственно, Глинько — никакая там не темная сила, а, скорее всего, живой человек, который по каким-то причинам предпочитает щеголять в аквакостюме и живет в озере-разливе. Судя по его размерам, хотя и преувеличенным молвою, он просто урод и стесняется своей внешности.

Усинский, скорее всего, невиновен в пропаже жены. Его к ней отношение (с подачи Анны) — отдельный разговор, но криминала в нем, в отношении, нет. То, что он так печется о своих тиграх, факт безусловно интересный, и Ханжин, отлучившись в момент, когда мы с Анной запускали проекционку, быстро прошелся по подвалу в гранд-здании, под трапезной и в обе стороны от нее. Прямо под трапезной он обнаружил бывший винный погреб, комнату с довольно интересным содержимым (Ханжин подзакатил глаза, провоцируя меня, но я не подал виду), однако разглядеть ее в деталях не удалось: помешал Усинский, который зашел туда секундами позже сыщика, отчего Ханжину пришлось натурально извиваться ужом, уползая из комнаты.

Кто может быть замешан в пропаже жены Усинского? Кто угодно: те, кто терпеть не может монополию Усинского на мельницу, завидуя его богатству; те, кто не выносит его увлеченность новомодными машинериями, считая, что старый Смуров с мельницей, полной мойр и охраняемой ужасным Глиньком — это незыблемо; те, кто попросту завидует его женитьбе на Марысе… Нам нужно продолжать работу по уточнению фактов — кто видел ее последней, где, с кем и так далее.

Стычка в ресторации, похоже, была организована кем-то, кому не по душе наше пребывание в Смурове. А значит, логично заключал сыщик, пока на нас нападают, это говорит о том, что мы — на правильном пути.

А вот то, что Марыся состояла в контакте с Анри Беккерелем, — это пока что загадка загадок. Не исключено, что мельница и ее чудеса имеют куда более прозаичное пояснение, но пока что у Ханжина нет фактов.

…Монотонный рассказ Ханжина все же усыпил меня. Я приткнулся в углу, на удобной кушетке… и был разбужен жестким толчком кулака в бок:

— Вы же обещали не храпеть! — возмущенно заорал сыщик.

* * *

Следущий день оказался для нас скупым на удачу. Мы провозились с опросами сначала домашней прислуги, а потом, постепенно увеличивая радиус захвата от маетка Усинских, начали опрашивать и городских жителей, всех, кто мог хотя бы косвенно пролить свет на исчезновение красавицы-панны.

Тщетно.

Солнце завалилось за горизонт.

…Усинский, который утром любезно согласился подобрать нас из города к концу дня, угостил ужином в небольшом, но уютном трактире «Два пекаря».

Паровые часы на городской ратуше заквохтали, засипели и с натугой пробили единожды.

Я вынул золоченую луковицу Буре и откинул крышку — четверть к одиннадцати. После насыщенного событиями дня время потянулось ко сну. Едва я открыл рот, чтобы предложить Ханжину закруглиться на сегодня, как из ближайшего переулка на площадь вылетел Державин.

— Держитеся! Держитеся! Идут… спешат… чую, чую, скоро туточки будут! Спасайтеся, придет круль Стах, на всех нагонит страх! — скороговоркой лопотал он, волчком крутясь у ног Ханжина. От юродивого смердело псиной, немытой и болезной. Полы прошловекового кафтана, некогда богатого, с почти стертым позументным серебром, подымали мелкие буруны пыли.

Он на секунду умолк, подняв голову кверху, будто прислушиваясь.

— Чую, чую… Кто умом и сердцем чист, не услышит крыльев свист…

Сыщик внимательно наблюдал за идиотом.

Показалось мне или нет? В безумии глаз Державина вдруг проскочила искорка смысла… нет, все же показалось. Дурак подпрыгнул калечной курицею и уселся в пыль, пуская длинные, пенные слюни. Далее случилось нечто странное: Ханжин быстро наклонился к юродивому и выдернул некий продолговатый предмет из складок его кафтана, но что именно, мне рассмотреть не удалось. Державин отпрыгнул, разгневанно залопотал, затем картинно повернулся к сыщику задом и громко испортил воздух.

— Тебе, приезжий, скоро каюк настанет! — крикнул Державин и кинулся прочь. Через мгновение его тень растаяла в переулке.

Усинский вздохнул, качнул головой.

— Пойдемте, господа. Не дело оставаться в ночь… Словом, не стоит, — поспешно оборвал он себя и с досадой крякнул.

Языки пламени газовых фонарей неслышно уменьшились в размере, переходя на ночной режим. На площади стало совсем неуютно. А может, мне это показалось — возможно, из-за того, что кликушество Державина прозвучало вполне осмысленно.

— Какой *круль*? Это кто? — спросил я Усинского.

— Да бог с ним, с умалишенным… Сам не знает, что плетет. Король Стах, не знаете такой легенды? А местные верят. Вот, каждое четвертое полнолуние выставляют мзду на порог, дабы откупиться, не пасть жертвой его якобы дикой охоты, — помещик указал на несколько медяков, стопкою сложенных на гранитном приступке бакалейной лавки, что располагалась на первом этаже ближайшего дома. Мне даже показалось, что в граните выдолблена специальная ямка для монет. Я недоуменно пожал плечами.

— Вот что, Мстислав Игоревич, отправляйтесь-ка вы в поместье без нас. У нас тут поблизости имеется небольшое дело, — вежливо, но непреклонно сказал сыщик Усинскому.

Тот откланялся, все же немного колеблясь. Похоже, ему было неуютно ночевать в огромном поместье одному. Анна, в силу известных причин, не появлялась там с момента нашего приезда.

Стимходка помещика зашлась в натужном кашле и тронулась с места в карьер.

Мы молча переглянулись. Хоть и не представляя, какое «дело» и в какой «поблизости» может нас ожидать, я всецело, как и всегда в подобных ситуациях, доверялся дедуктивному чутью Ханжина.

Он напоминал теперь хищного беркута, который набрасывает круги над жертвой, постепенно сужая их диаметр. Во всем его облике было нечто жутковатое, беспощадное. Я не выдержал:

— Ханжин, и все же? Куда и зачем? — я и не думал спрашивать о том таинственном предмете, который он вытащил у юродивого: зная скрытный характер моего напарника, это было бессмысленно, разве что я хотел бы здорово его разозлить.

Не ответив на вопрос, Ханжин резво устремился к стоянке стимолёток в дальнем углу площади. Невзирая на поздний час, машинерии курились под парами, готовые принять загулявшего пассажира. Линия подачи пара одного из них, похоже, травила: фланцевое соединение исходило негодующим клекотом и вовсю плевалось кипятком. Извозчик, бурча себе под нос, и подтягивал фланцовку парой ключей, поблескивая стеклами гогглов в полумраке. Стимолётка была щегольской, со снятыми боковыми щитками. Сложное сплетение латунных кишок пафосно являло

себя наруже — с клапанами, как у саксофона, с извивами толстых и тонких трубок, но вдобавок со множеством шлангов, маховичков и крохотных турбинок. Все жирно блестело, вращалось, жужжало и сочилось маслом в неярком свете газового фонаря.

Рассмотрев ближе второй аппарат, я понял, что стимолёткой его нельзя было назвать даже несмышленому мальчишке. С паром он не имел ничего общего. Узкий, словно сплющенный с боков, обтекаемый корпус разделялся посредине огромным, тяжелым маховиком-инерцо, рядом с которым в отдельном кожухе находилась мощная пружина в добрых три аршина величиной. Над отделением с инерцо, довольно высоко, располагалась небольшая, узкая кабина; она была плотно обтянута чем-то прозрачным, что поначалу показалось мне бычьим пузырем, но я усмехнулся такому предположению. Маховик был неподвижен, агрегат стоял на приколе, однако мерное, едва слышное поскрипывание говорило, что в аппарате взводится мощная пружина — она накручивалась от чавкающего в сальной смазке коленвала, ось которого уходила в темноту подвала одного из домов площади.

Ханжин прошел мимо стимолётки, брезгливо морщась. В «пружинке», как назывались аппараты, использующие взвод гигантской пружины и дальнейшее вращение ею маховика, сообщающегося с колесами, никого не было. Шоффэр сидел на скамье неподалеку и меланхолично крутил на пальце кольцо с жезлом-ключом, ожидая полной заводки машинерии.

— Послушай, любезный, за сколько мы можем взять твою красавицу напрокат? — Сыщик ткнул пальцем в сторону машинерии. Я едва узнал Ханжина, настолько необычно вежлив был его тон. Он не стал даже переходить на сленг.

— Помилуй, барин, какой прокат?! А ну как ты ухайдокаешь такую лялю, — прокуренные усы шоффэра, пышные, с закрученными кончиками, негодующе встопорщились. — и чо мне прикажешь потом делать? А на мне семейство, дитёнки…

Ханжин нетерпеливо махнул рукой, в которой вдруг оказалась сложенная впополам тонкая пачка купюр. Усы разом вернулись в нормальное положение, и через пару минут, клятвенно пообещав обладателю «пружинки», что мы вернем ее на место к восьми утра, мы уже неслись с бешеной скоростью — верст двадцать в час, не меньше — по ночному Смурову.

Ханжин молча вел «пружинку», сдвинув брови, изредка оглядывая обочину дороги в поисках указателей. Цветные указатели, выполненные в виде стрел, выкрашенных той или иной краской, помогали стимоходчикам ориентироваться в

городке. Короткая консультация Анны во время переезда от станции к городу пришлась весьма кстати — редким *заезжанам*-чужакам зеленые, красные, желтые или синие жестяные стрелки на обочинах не говорили ровным счетом ничего. Сыщик пока что ориентировался по зеленым стрелам, указывающим дорогу к станции.

Поскольку еще сегодня днем уезжать из Смурова мы явно не собирались, я открыл было рот, чтобы спросить Ханжина — не передумал ли он, но тот опередил мой вопрос.

— Примерно в трех верстах от последнего дома на Громыженке будет поворот на… — он слегка запнулся, — давайте называть это *прерией*, потому что просто камышами назвать то место у меня язык не повернется. Слишком там все… Странно. По крайней мере, по россказням и байкам. Было бы благоразумнее, Брянцев, прокатиться туда при дневном свете, но у меня есть предчувствие, что ночь у нас будет… занятòй.

— Предчувствие? — саркастически переспросил я.

— Да будет вам, уверенность… — сыщик впервые за вечер улыбнулся. То, что ожидало нас в густых зарослях камыша, в неведомой обстановке, в ночном мраке, явно будоражило кровь и насыщало блеском лихорадочности угольно-темные глаза Ханжина. — Кстати, ваши огнеметы…

Я с готовностью похлопал себя по кобурам под пыльником. После стычки в «Полудне Филиппа» я постоянно держал оба «Лепажа» под рукой, вернее, подмышками. Отличная штуковина, доложу я вам. Резервуар, конечно невелик, и более, чем на десять-пятнадцать секунд мощности огня у «Лепажа» не хватит… но я придумал трюк — спарил два резервуара а-ля «голова к хвосту», и тем самым удвоил продуктивность этого компактного, но страшного в коротком бою оружия. Один из *танкетас*, резервуаров, подтекал, и мой пиджак теперь наверняка пропахся вонью «греческого огня»… совершенно неожиданно я вспомнил, как трепетно расширялись тонкие ноздри Анны Усинской, втягивая дикий запах паро-дыма, и вообразил, как она вдыхает «аромат» моего пиджака, представил ее серые, слегка на выкате глаза, тонкие, выщипанные по последней моде, брови, локон волос, непослушно выбившийся из-под фуражки…

Тьфу, чертовщина какая-то! Я смущенно отвернулся под секундным пристальным взглядом Ханжина.

«Пружинка» завизжала гиротормозами и скатилась с «шасейки» в пыль грунтовой дороги. Ханжин ловко вертел штурвал управления, не забывая периодически подкручивать свободной рукой магнето фронтальных прожекторов — мы съехали в полную темень, и их свет теперь выхватывал то горстку

деревьев у поворота, то скопление кустарников на краю дороги. Она становилась все уже, все малозаметнее… и вскоре совсем пропала. «Пружинка» теперь катилась по сухой траве — непонятно, почему она была сухой? Ведь мы, по идее, приближались к истокам речки Смуровки, и уж где-где, а здесь влаги должно было приличествовать с лихвою…

Вскоре в траве, что становилась все выше и выше, стали встречаться «островки» — возвышения с причудливо изломанными остовами бывших деревьев. Именно бывших; деревья по непонятной причине высохли, съежились и почернели, словно обуглились, и их жуткий вид в ярком свете прожекторов воскрешал в памяти емкое слово *погост*. «Дукаты», литые резиновые колеса машинерии, моментами напрыгивали на странные черные блины в грунте, от которых исходил резкий запах газойля. Мне припомнилось высказывание Анны, что местные болота иногда отрыгивают асфальтом.

Ханжин между тем откинул лючок слева от себя, поколдовал немного с измерительным жезлом, пожевал губами и сказал:

— Все, надо останавливаться. Иначе не хватит завода доехать назад. — Зная честность моего друга, я не мог и думать, что он нарушит обещание, данное шоффэру на площади. — Дальше пойдем пешком.

Пешком так пешком. Откинув прозрачный полог, я нашарил ногой ступеньку в высоком корпусе «пружинки» и спрыгнул вниз.

К удивлению, почва, хоть и сухая, пружинила под ногами не хуже…

— Нет, это не торф, — продолжил мою мысль Ханжин. — Это такая штука… кажется, она называется битуминозный песок, или как-то так. Нефтеносный, между прочим. Но совершенно непонятно, откуда она здесь — ведь Смуров сидит, что называется, на гранитном щите. Впрочем, мы с вами здесь не для геологических изысканий.

Меня так и подмывало спросить — «а для чего?», но я прикусил язык.

Мы довольно споро продолжили путь в сердце камышовых зарослей, насколько я мог судить о направлении нашего движения. Тьма вокруг нас была плотной, но не кромешной; путь освещал портативный газовый фонарь с большим рефлектором, который Ханжин нес далеко отставленной рукой.

По мере углубления в прерию пейзаж не становился привлекательнее. Чтобы снять напряжение, я все же решился и стал расспрашивать Ханжина о том, что именно привело нас сюда. На удивление, мой напарник, похоже, созрел для того, чтобы поделиться соображениями.

— Поначалу меня сильно заинтересовал этот гигантский «кот», или «тигр», — он проакцентировал оба слова так, что я понял: сыщик не верит в их существование. — Мне стало ясно, что те, кто раздувает слухи о его существовании, заинтересованы в отпугивании горожан от этих мест, равно как и от мельницы. Но если к мельнице нельзя подобраться со стороны леса, то те, кто очень захочет пробраться туда, могут воспользоваться прерией… — Он внезапно остановился и быстро прирутил фитиль в фонаре, от чего тот почти угас. — Секунду, Брянцев; вы ничего не слыхали?

Я отрицательно помотал головой.

— Оттуда… с той стороны? — Он указал рукой, как мне казалось, в сторону ущелья.

— Нет, я в самом деле ничего не слыхал. А что слышали вы?

— Что-то наподобие стонов или тихих причитаний… Показалось, — он снова зашагал вперед, заметно ускорившись. — Так вот, если прерия является наиболее уязвимым местом в защите мельницы от любопытства зевак, то нужен такой вот страшилка, чтобы отпугивать слишком ретивых. Когда Усинский сказал, что он был в Юго-восточной Азии, я проверил его утверждение простым способом. Я назвал пристань в Сингапуре, где он вроде бы как прожил некоторое время, нарочно исказив ее название — «Робертсон Квай». Если он в самом деле жил там, он должен был бы знать, что моряки в Азии произносят слово как «Ки», но не как «Квай», хотя это и против правил чтения. Он не поправил меня. То есть его утверждение о том, что кот-тигр, якобы убежавший из поместья и поселившийся в прерии, привезен им из Азии, по меньшей мере вызывает мое сомнение. Зверь здесь явно водится — о трупах задранных им животных говорят многие в городке — но вот *какой* именно? Вы же помните о Глиньке?

Теперь остановился я. Но не из-за неожиданного кунштюка мысли моего друга.

Ошибаться я не мог. Откуда-то справа, из камышовой гущи, раздавался едва различимый вой, похожий на плач койота, но куда более тихий. Присмотревшись, я вдруг увидел в темени за узким кругом света от фонаря… несколько горящих точек, крохотных язычков пламени. Они перемещались, плавно, но хаотично — …

приближаясь к нам.

Огней становилось все больше, они теперь окружали нас, словно танцуя. Внезапно поднялся ветер; я вспомнил, что до того стоял полный штиль. В разрыве низких туч показалась полная луна, огромная, мертвенно-голубого цвета. Огни заплясали,

задвигались в унисон с порывами ветра.

Не то шепот, не то вой. Или детский плач. Мне вспомнились деревни африканских матабеле, сожженные наемниками. Старейшины не разрешали селиться на тех местах после войны, говоря, что души сгоревших будут мучить живых годами…

Стало душно. Костлявая кисть прошлого снова взмахнула косою у головы. Волосы непроизвольно зашевелились у меня под шляпой.

— Да вы никак нервничаете, Брянцев? — насмешливый тон вопроса Ханжина вывел меня из наваждения. — Вы же знаете об огнях Святого Эльма, не так ли? Кстати, как у вас с головой — не болит? Эманация газов в таких местах сильнейшая, можно легко отравиться…

В самом деле, земля под моими ногами внезапно пошла кругом. Я наклонился и совсем неожиданно для себя едва не вырвал.

Мой друг заботливо подхватил меня, не дав упасть.

— Полноте вам! Поднимите голову повыше, дышите глубже… вот так. Пойдемте вот туда, — он повел меня к небольшому пригорку, ощетинившемуся дюжиною черных скелетов деревьев.

В самом деле, мне стало немного лучше, как только я поднялся наверх и жадно схватил ртом порыв ветра. Сухостой камыша гулял под его напором, беспорядочно шурша острыми листьями. Луна окрашивала их в серебристые тона — выходило довольно мрачно, но вместе с тем красиво.

Однако что-то в этом хаотичном движении мне не нравилось. Я присмотрелся повнимательнее к очередной волне и понял, что она создана не ветром.

Кто-то — или что-то — мерно, монотонно продвигалось в толще камыша.

Я молча указал на движение Ханжину. Тот коротко кивнул. В этот момент движение прекратилось.

Пара огней возникла почти одновременно с осознанием того, что на этот раз они были куда больше, и совсем не блекло-голубого цвета.

Они были красными. Нешироко расставленными. На расстоянии, которое живо напомнило мне, что в свое время в Махараштре я всаживал «дум-дум» в аккурат между такой же парой…

Тигр замер в десятке метров от нас. Слишком близко. Слишком поздно мы его увидели. Я знал, что любое решение теперь практически не имеет значения. Судьба. Я не успею достать «Лепажи», не успею зажечь фитиль — а даже если и успею, решимость беспощадного орудия убийства, скорость

прыжка, живая масса, подвижностью не уступающая ртути, попросту сомнут нас, разрывая на части все, до чего дотянутся жадные резцы-зубы, которые уже не будут подчиняться мозгу — лишь инстинкту.

Зверь был великолепен. Он был действительно белым, полностью, без полос. Альбайно, как говорили офицеры Ее Величества Кавалерийского полка Пондишерри. Полосы выдавали бы его в камыше, подумал я совершенно без эмоций. В свете луны атласная шкура серебрилась похлеще камышовых стеблей, и я даже где-то залюбовался феерией: словно ожила древнекитайская гравюра на черном мраморе.

Краем глаза я заметил, что Ханжин змеиным движением вытаскивает из ножен-нарукавней длинный стилет. Славный мой товарищ. Стилет не остановит слепой ярости зверя.

Чего же ты ждешь, альбайно?

Неясное поначалу, но с каждым мгновением более ощутимое, дрожание земли. Вот из-за чего он медлил. Потом появился звук, протяжный, тонкий свист, который с приближением источника звука обрастал более низкими тонами. К нему подмешивался неприятный металлический лязг, в отдельные моменты попадавший в унисон с содроганием земли.

Я знавал раньше подобное сочетание лязга и тряски. Так шел в атаку отдельный мотор-батальон Циньской Дивизии. Закованные подвижными пластинками гибкой брони стимциклетки с коконами, в которых сидели *бомберы*, натренированные на метание сосудов китайского «каучукового ужаса», огня, прилипающего ко всему и сжигающего всё дотла… Но свист?

Ханжин жестом указал мне влево.

С горизонта, наискось к тигру, заходила кавалерийская лава. Всадники были еще далеко, но разгоряченное сознание словно приблизило меня к ним… Лунный свет высекал яркие блики из стальных шишаков, украшенных гребнями меди и позолоты, клиновидные *прапорцы* развевались на длинных, тяжелых пиках, кони храпели и ярились под весом всадников в полных доспехах, от головы до пят, с наличными пластинами, что оставляли открытыми только горящие уголья-глаза. Троекратное «Гусария!» разорвало тишину, и топот, и храп, и лязг, и блики заполнили всё вокруг.

И свист.

Крылья свистели за спинами закованных в сталь всадников, — большие, изогнутые кверху, унизанные причудливыми пестрыми перьями. Именно перья издавали этот тревожный, неприятный звук, от которого тигр запрял ушами,

напоследок неслышно оскалив сахарной белизны клыки, и растаял в начинающей подниматься от земли дымке предрассветного тумана.

Конная ала плавно изогнулась в скачке, разделяясь на две части. Одна устремилась в ту сторону, куда скрылся тигр, другая…

Другая мчалась прямо на пригорок, где стояли мы.

Спотыкаясь, на непослушных ногах, мы бросились назад, к дороге… Тщетно.

Дальнейшее фиксировалось в моей памяти отдельными дагеротипами.

Ханжин ловко уворачивается от длинного палаша, просвистевшего в сантиметрах от лица, опасно ныряет под брюхо присевшей от натуги лошади и втыкает ей снизу стилет между армуар-пластинами, прикрывающими грудину… я выдергиваю трясущимися от нетерпения руками «Лепаж» из правой кобуры и нажимаю на привод поджога фитиля — ну же, ну скорее… Вечность спустя из ствола «Лепажа» вырывается тонкая темная струя, точно впиваясь в бок всадника, который уже замахнулся на меня кривой, огромной до изумления, саблею — раздается такой желанный звук «фффуххххх», и латы озаряются кровавым, жадным пламенем. Звериный, нечеловеческий крик пронизывает воздух, насыщенный нездоровыми миазмами.

С запозданием я подумал, что, наверное, огнемет — не самое полезное оружие в местах, где *игнес фатуи* блуждают с частотой зерен в гранате, но мне было, собственно наплевать. Холодная ярость, давно забытая, кипела в крови. Я подхватил на бегу Ханжина, который тщился извлечь ногу, прижатую упавшей лошадью, одновременно выдергивая второй «Лепаж»; щелк-щелк… пауза… снова долгожданное «фффуххх», и тот всадник, что собирался уже наколоть моего друга острием пики, выронил ее из рук и, слетев с лошади, с диким криком побежал в камыши, безуспешно пытаясь сбить пламя, радостно лизавшее сталь доспехов, нетерпеливо проникающее внутрь…

Мы не помнили, как вернулись к «Пружинке». За нами полыхала *прерия*. Всадники исчезли — те, что уцелели в огне. Двух выстрелов огнемета хватило, чтобы густой белый дым прочно оседлал верхи языков пламени, бушующего на огромном пространстве, пожирающего то, что еще меньше часа тому было темной массой колышущегося моря камыша.

Моря, в котором нас ждал Альбайно.

Нас ли он ждал? И за ним ли — или по наши души? — прискакали тени гусарии пана Вишневецкого, которые горели не хуже живых…

— Что мне непонятно, Брянцев, — неожиданно и совершенно спокойно сказал Ханжин, заводя машинерию, — так это глупое сочетание гусаров Вишневецкого и охотников Стаха в одной кавалерийской але. Как вы полагаете, это намеренно или случайно?

Истерический смех не отпускал меня до самого Смурова.

* * *

— … Голубчик… Всеволод Григорьич… Беда, ой беда-а-а-а… Барин-то… Батюшка наш, Мстислав Игоревич, прости господе и помилуй… — губы старого слуги, Ерофея, прыгают, орошаясь незваными слезами. Он топчется на пороге *маетка*, главного дома усадьбы, бесцельно всплескивая руками в тщетной попытке донести до нас идею события, которое мы уже осознали, лишь только он обронил первое упоминание беды и Господа вкупе с именем хозяина.

Запекшаяся кровь делает лицо Ханжина зловещим. Тем не менее, его голос ровен:

— Где? Веди, Ерофей!

Гулкие шаги по паркету бесчисленных коридоров — наши с Ханжиным, размеренные и тяжелые от усталости и новой, неожиданной вести, в сопровождении семенящих, легких шарканий летних чувяк Ерофея. Галогенный фонарь в руке слуги пляшет в отчаянии, по пути выхватывая светом старинные рундуки с оббитыми медью углами, головы охотничьих трофеев на стенах, барочную мебель, канделябры, современные механизмы непонятного предназначения — Усинский был большим чудаком, сочетая любовь к прошлому с тягой к новому… Был. Теперь уже был.

Чертова ночь.

— Вот… Туточки я его и нашел… Бездыханные оне. — Ерофей поставил, почти что уронил фонарь на пол, зайдясь в приступе плача.

Усинский полулежал, полувисел в экзерсисной машине. В прямом, беспощадном свете фонаря видение было страшным даже для моих закаленных нервов. Я не выдержал и отошел к двери кабинета, сообщающегося с комнатой для физических упражнений высокой одностворчатой дверью, — нащупал у косяка краник подачи газа в светильник-шандалу и повернул его.

«Больше света» в данной ситуации не привело к «меньше жути».

Как врач военно-полевых шпиталей, я видел в жизни всякое,

но скажу однозначно, такое я встретил впервые.

Казалось, что в теле несчастного помещика не осталось ни единой целой большой кости: руки, ноги, хребет изогнулись в совершенно нелепых углах, зажатые взбесившимся механизмом, который продолжал дергаться, шипеть и лязгать бесчисленными захватами, толкачами, поршнями, шатунами, а главный маховик монотонно вращался на четверть оборота — туда-назад, туда-назад, отчего труп Усинского, словно кукла на невидимых нитях, жутко дергал изломанными конечностями… в довершение ко всему, голова бедолаги, вывернутая на лицом на спину, болталась так угрожающе-свободно, что казалось — еще мгновение, и она отвалится.

Ханжин опомнился первым и остановил адский агрегат. Я пробормотал: «Несчастный случай?» — но мой напарник отрицательно мотнул головой и молча указал пальцем на верхние и нижние прутья рамы аппарата. Кисти и щиколотки помещика были накрепко привязаны к ним веревкой.

— Всем оставаться на своих местах! Полиция Смурова! Старший сыскной советник Лестревич наличествует на месте преступления! — металлический голос стряпчего, традиционно оповещающий о прибытии законников, не предвещал ничего толкового.

Ханжин медленно сделал пару шагов, приблизившись ко мне, и сложил руки на груди.

— Ни звука о том, где мы были и что делали прошедшей ночью… — опустив голову и прикрыв лицо тульей шляпы от наводняющих комнату полицайных, прошептал он. — Мы провели все это время в сбитень-автоматной, помните, на выезде из города? Там никого не было…

Я согласно прикрыл веки.

ССС Лестревич, молодой человек возрастом явно до тридцати, с пронзительно-властным взглядом стальных серых глаз, пушкинскими, но светлыми кучерями на объемистой голове и небольшими, холеными усиками, быстро подошел к нам.

— Господа Ханжин и Брянцев, если я не ошибаюсь? — Крупная заколка советника в его петлице небрежно опиралась на семиконечную звезду выпускника Муромской Академии Сыска, которая удобно примостилась на лацкане модного пиджака с тремя фалдами.

— Если, — процедил сквозь зубы Ханжин и вызывающе выставил вперед правую ногу. Мне стало жарко. Зная впыльчивость моего напарника и его нелюбовь к «сыскарям» («Брянцев, они — *сыскари*, а мы — сыщики! Чувствуете разницу?»), а также скандально известную в Питере репутацию

Ханжина как записного дуэлянта, я с должным основанием мог рассчитывать на продолжение едва завязавшегося диалога на свежем воздухе. Ханжин выиграл двадцать семь дуэлей, более двадцати из них — на пистолетах…

— Вы квартируетесь в поместье господина Усинского? — последовал небрежный кивок в сторону несчастного помещика. — Я официально приказываю вам немедленно вернуться в свои кватеры и пребывать там под домашним арестом вплоть до особых… распоряжений, — напористым тоном объявил советник.

— Арестом? — не выдержал я. — Помилуйте, господин советник, но это же…

— Ахинея! — с издевкой обронил Ханжин.

— Послушайте… *дохтур*, не суйтесь в серьезные дела. Могут нос прищепить, — заносчиво произнес Лестревич, по-бульдожьи поддернув верхнюю губу. — А вам, господин-хороший-сыщик, — губа снова дернулась, — я рекомендую хорошо подумать над алиби. Вы же будете утверждать, что не имеете причастия к гибели помещика Усинского?

Нелепые подозрения, высказываемые Лестревичем весьма категорично, накалили обстановку. Я, тем не менее, проглотил обидное «дохтур» и принялся, как мог, снимать напряжение, приводя всевозможные аргументы в нашу пользу, а статский в то же время упрямо гнул свою линию, явно пытаясь пристегнуть нас к гибели Усинского. Его напор был совершенно необъясним.

Пока мы пикировались, полицайные, будто муравьи, наводнили комнату. Надо было отдать должное той деловитости, с которой подручные Лестревича освободили тело несчастного покойника, уложили его на пол у аппарата, накрыв белою простыней, и затем стали методично обыскивать комнату, аккуратно переставляя предметы, проверяя содержимое выдвижных ящиков во встроенных стенных шкафах… Один из них участливо увел по-прежнему вслипывающего Ерофея на половину прислуги.

В момент, когда мой напарник, все же не стерпев, угрожающе шагнул к статскому, а я подумал, что теперь, похоже, стычки не избежать — со стороны кабинета донесся сдавленный возглас.

Все разом замолчали и повернулись к двери.

Анна Усинская, белее простыни, покрывающей труп ее брата, обессиленно оперлась на стену. Я понимал ее ощущения в этот момент. Да, она не любила брата, считая, что он отравлял самоё существование ее свояченицы, и в какой-то момент полагала, что это он сгубил Марысю. Но они были Усинскими, наследниками древнейшего литовского рода, и их связывало нечто куда большее, чем семейные распри — а возможно, даже большее, чем

кровь пришедшей в их семью *незванки*, девушки из менее знатной семьи…

Первым опомнился чиновник:

— Анна Игоревна, Христом Богом… Пройдемте, прошу! Никитин, живо, уносите же! Где этот чертов доктор… Да не вы, Брянцев! — с досадой бросил статский. Он суетился вокруг разбитой увиденным девушки, постепенно выпроваживая ее в кабинет, подальше от неподвижного силуэта под простыней.

Я с изумлением наблюдал за переменой; эка вон, выходит, Лестревич был неравнодушен к девушке! Что-то странное, тяжелое заворочалось у меня в груди, но неприятные мои размышления прервал Ханжин, который ловко утащил меня за руку в полуоткрытую дверь переходного коридора.

* * *

— … да скорее же вы, недотёпа! — бурчит Ханжин. — Мы пока что с гандикапом…

Куда он тащит меня? Пора пояснить ему, что привычка недоговаривать о догадках или умозаключениях предельно истощает мое терпение.

Ханжин ориентировался в огромном пространстве нескольких домов, соединенных крытыми переходами, как рыба в воде. Завидное качество.

— Здесь! — бросает он через плечо. Лязгает клямкой старинная, под стрельчатой аркой, дверь.

В помещении за дверью сыро. Подслеповатое оконце с толстым катаным стеклом вековой давности, почти под потолком, не дает много света, несмотря на яркое утренне солнце.

— Где мы? — я тру виски пальцами, стараясь отогнать усталость.

— В подвале, под трапезной… Помните, в наш первый вечер, во время ужина, я встал и прошелся от стены до стены? Тогда я промерял ширину комнаты; мне показалось забавным, что крепежная заглушка крюка для подвески шанделира, вот этого самого… расположена не по центру комнаты там, наверху. — он указал на потолок, на причудливый газовый шанделир; он имел восемь симметрично расположенных горелок-рожков, направленных вовнутрь, к большому стеклянному шару. Шар, закованный в железную раму, выглядел нелепо; да и вообще вся конструкция смотрелась странно. — Зато здесь канделябр висит ровно по центру… Вам это ни о чем не говорит?

Я устало-отрицательно качаю головой.

— Ну же, Брянцев! Смотрите, — Досадливо сморщив рот, сыщик сделал пару шагов к стене напротив двери и сильно стукнул по ней кулаком. Потом повторил то же у другой стены. Звуки различались… Я, кажется, начал понимать! Похоже, что стена, которая издавала глухой звук, была фальшивой, она скрадывала примерно три-четыре аршина в глубину.

Только теперь до меня дошло, что странного было во всей конструкции. Я увидел, что светильник висел на тонкой цепи, пропущенной через крюк, но цепь не заканчивалась на нем, она тянулась дальше, к стене — той самой, что издавала более глухой звук под кулаком Ханжина. Я также обратил внимание на то, что шар в центре светильника заполнен какой-то мутной жидкостью. Газовые рожки… форсунки…

Мы переглянулись.

Ханжин быстро подошел к стене, открыл *шкертик*, вентиль подачи газа — щелкнуло кресало, и восемь синих язычков пламени растеклись по поверхности мутного шара.

«Жидкость» в шаре вскипела неожиданно быстро, из отверстия сверху пошел пар, и светильник вдруг начал подниматься выше под потолок. Баланс нарушился, сообразил я; скрытый противовес за стеной опустился вниз, подтянув шанделир… и заодно открыл потайную нишу в стене под оконцем.

Ханжин первым бросился к нише, в которой виднелся медный рычаг, и потянул рычаг на себя.

Фальшивая стена беззвучно ушла в пол.

Пахнуло плесенью и еще чем-то чужеродным, отчего внезапно обострились все ощущения и почему-то захотелось поднять шерсть на загривке. Я не понимал, что происходит: усталость прошла бесследно, словно ее и не было.

Огромный камень занимал приличную часть открывшегося за фальшпанелью помещения. Собственно, он сам служил стеной — черный, гладкий, слегка матовый. Почти всю высоту камня занимала гравюра, подобие наскального рисунка, выполненного в одну тонкую линию. Рисунок явно был сделан много лет тому назад: нижняя часть его стерлась со временем, словно основание камня подмывалось речкою.

С рисунка на нас, печально наклонив непропорционально большую чанообразную голову, смотрел Глинько.

Сомнений в этом не было. Слишком много историй слышали мы про местного страшилку, слишком часто люди описывали эту нескладно *велькую* голову, соединяющуюся практически без шеи с пнем-туловищем, из которого торчали руки-крюки и ноги-ходороги, и те, и другие без пальцев, словно он был в… словно он

надел…

Черт возьми, ошалело подумал я, и похоже, произнес это вслух, потому что Ханжин согласно кивнул головой и неожиданно громко икнул — похоже, он сообразил практически одновременно со мной.

Глинько, чудовище, жупел местечкового фольклора, был никем иным, как человеком в подводном костюме. Возможно, для смуровских обывателей, никогда не видевших аквакостюм, он являлся атрибутом исчадия ада, но мы насмотрелись на них вволю (а мой друг даже опускался под воду в *аквакосте*), когда расследовали исчезновение стиммарины «Невель», пропавшей из доков Петербурга летом одиннадцатого года. Мы разыскали подводное чудо века после двух недель упорной работы, в Петергофе… долгая история, заслуживающая отдельного рассказа.

Итак, Глинько невыразительно глядел на нас одним глазом-иллюминатором посередине тщательно выписанного на черном камне шлема акванавта. Но меня по-прежнему не отпускала непонятная тревога, что-то, все так же ерошащее загривок… древнее, подкожное чувство, доставшееся от предков.

Я понял, чем было это самое «что-то», когда Ханжин подошел к камню и стал рядом с рисунком.

Глинько был как минимум на две головы выше Ханжина. На те самые, которые без особого труда поместились бы в его «кастрюле»-шлеме. Безусловно, масштаб необязательно должен был отражать истинное соотношение, но…

Что-то громко чавкнуло под ногами Ханжина. Его ботинки залипли в черной субстанции, выступившей сквозь пол — она сочеталась по виду с материалом камня, но выглядела явно более податливой, словно разогретая смола. Он попытался выдернуть правую ногу из «смолы», но та не поддавалась… сыщик неловко оступился и, чтобы не упасть, оперся рукой о камень.

Кисть Ханжина погрузилась в черное нечто, которое до этого мы принимали за камень, увязнув в нем так же основательно, как и ноги.

Я подбежал и, ухватив друга за свободную руку, попытался подсобить, но не тут-то было. Он не паниковал, однако ощущение того, что тебя, как муху, поймали на липучку, было явно не из приятных. Прошло несколько секунд бессловесной борьбы с болотно-вязкой материей; пользы это не принесло, наоборот, Ханжин опустился в нее по колени…

— Что делать, Всеволод? — лишь в очень серьезных ситуациях позвлял я себе назвать моего друга по имени.

— Судя по скорости, до полного погружения осталось чуть

больше минуты. У вас нет сигариллы, случайно?

Я пораженно взглянул на сыщика. Невероятное самообладание или безумство храбрых?

Краем глаза я заметил, что рисунок постепенно погружается в «камень», словно растворяясь в черной субстанции. Еще несколько секунд — и он исчез, но на его месте тут же появилось изображение… стимходки.

На мгновение мы позабыли о том, что жизни Ханжина угрожает опасность, настолько невероятным было превращение рисунка. Потом стимходка растворилась так же, как и Глинько, и вновь проявившиеся линии сложились теперь в силуэт женщины… Марыся! Я был уверен в этом; очертания фигуры молодой женщины легко угадывались и, главное, походили на те, что были запечатлены на ее портрете над камином в большой зале усадьбы.

Новая смена рисунка, и на черной поверхности появилось изображение мельницы… затем — снова Глинько, опять Марыся, и снова мельница.

Ханжин, пыхтя от напряжения, выдавил:

— Брянцев, вы понимаете, о чем это говорит? Глинько — Марыся — мельница… Нам во что бы там ни было нужно пробраться к чертовой молотилке. Я уверен, все ключи к разгадке находятся там!

Он сумасшедший, с отчаянием подумал я, продолжая без особой пользы тянуть Ханжина за руку.

— Да отпустите же вы меня! Вы что, не видите?! — Сыщик вытянул подбородок в сторону рисунка, который теперь показывал… самого Ханжина (по крайней мере, мне очень хотелось так считать), погрузившегося по колени в «смолу». Следующим было изображение моего напарника в какой-то овальной штуковине наподобие большого яйца, застрявшей в некоей стене. Штуковина плавно превратилась в мельницу, затем снова в Глинька, и снова — в Марысю.

Мои нервы, наконец, не выдержали. Я заорал в полную мощь легких и изо всех сил дернул руку Ханжина — наверное, я повредил бы ему или локоть, или плечо, но, к счастью или нет, потерял равновесие и шлепнулся в «смолу» боком.

К моему огромному удивлению, я здорово ушибся: та же самая вязкая субстанция, что неумолимо втягивала Ханжина, оказалась твердой, как базальт, для меня. Неестественность подобного явления на несколько мгновений парализовала мое сознание. Я отпустил руку Ханжина. Оказалось, этого было достаточно, чтобы он, судорожно всхлипнув, буквально провалился в ставшую жидкой, как вода, черноту под ногами.

— Ханжин! — Я упал на колени, по-глупому пытаясь воткнуть руку в мгновенно затвердевшую материю вслед за моим другом… Тщетно.

На матово-черной, идеально ровной поверхности лежало большое, пестрое перо птицы. Крупная дрожь пронзила меня.

Это был тот самый «предмет», что Ханжин снял с кафтана городского дурачка, пускающего слюни и несущего белиберду. Страусиное перо.

Такое, что использовались гусарами Вишневецкого для их поющих крыльев. Тех, которые мы слышали сегодняшней ночью в камышах.

* * *

Полицайная стимходка квохчет, стараясь развести пары помощнее, но получается неважно. Мои кисти схвачены наручниками. Мне плевать.

— Вы представить не можете, какую роль играл господин Усинский и его мельница в жизни Смурова, — возбужденно жестикулируя, говорит Лестревич. Он, кажется, является патриотом города. Но с патриотами мы единожды уже имели дело в ресторации…

Восторг, любовь, с которыми он говорит об Анне, больно резонируют в моем сердце. Лестревич знал Анну Усинскую с детства, их родители дружили семьями. Прикидывая, что в отрочестве он (по традиционному сценарию) наверняка поклялся ей в вечности своих чувств, я морщусь и переключаю мозг на события последних дней — благо, для это не нужно сильно напрягаться.

В памяти, кажется, навечно отпечаталось лицо Ханжина, наполовину ушедшее в «смолу». Ступор от происшедшего с ним сделал всю процедуру моей «поимки» бескровной. Я попросту сдался полицайным; они радостно навалились на меня кучей-малой в полтора десятка вонючих шинелок и стоптанных кирзачей.

Лестревич везет меня в уезд. Стимходка статского не отличается скоростью, но бесплатной, то бишь государственной, стимходке «трубу на ходу неча клёпить», как сказала бы Анна Усинская, переводя на риветхедский сленг обычное «дареному коню в зубы не смотрят»…

Все, однако, повернулось совсем иначе.

Сначала над кромкой чащи полыхнуло красным, и яркий шар, поднявшись выше, внезапно заклубился, подернулся черными

разводами и рассыпался сажей. Спустя несколько мгновений после вспышки до конвоя докатился странный звук, что-то вроде свистящего «хиссс», вслед за которым земля содрогнулась от мощного «буммм». Статский встревоженно привстал с кожаных подушек и стал пристально вглядываться в сторону чащи.

— Мельница? — мой вопрос прозвучал скорее утвердительно.

Он покосился на меня, но ничего не ответил. После секундного раздумья Лестревич позвал старшого:

— Бузыкин! Веди задержанного назад, в город. Я — на мельницу. Там что-то неладно.

Я качаю головой. Неладно — не то слово. Откуда статскому и полицайным знать, как срабатывает взрывчатка Сударева? Судя по размеру палева, размер воронки будет достаточным, чтобы поместить в нее пяток стимходок Лестревича. Кто — и зачем? — мог рвануть мельницу? Рисунок на «камне» — Ханжин в пузыре, мельница, Марыся — снова всплыл в памяти.

— Слушайте, статский, возьмите меня с собой, — надежды у меня была всего-то толика, но попробовать стоило. Я старался говорить попроще, чтобы звучать более убедительно. — Эта штука… такая взрывчатка на деревьях не растет, тем более у вас, в дыр… в глубинке. Те, кто сейчас там на мельнице орудует, лыком не вязаны, вы понимаете, надеюсь? Я что хочу сказать: мой войсковой опыт побольше вашего будет, вкупе с полицайными. Пригожусь наверняка.

Увидев, что Лестревич колеблется, я поспешил укрепить позиции:

— Слово даю: не убегу.

— Шулепяк, поворачивай аппарат, едем к Чертовым Воротам! — решается он и звякает ключами, снимая с меня наручники.

— Нет, там *пально,* — я не замечаю, как ввертываю местное словцо. — надо низом, через камыши… или что там от них осталось, — и делаю вид, что не замечаю подозрительного взгляда статского.

* * *

…По гари, мимо хищно изогнутых, тянущих к нам ломаные руки-ветви скелетов деревьев, спотыкаясь в быстро наступающих сумерках, мы бежали к мельнице, к нагромождению скал, ущелью, тайною которого была удивительная, загадочная, зловещая мельница, ключ к разгадке.

Оттуда, из-за скопища каменных громад, доносился гомон

толпы, отсветы пламени, и смутно знакомый голос прорезал мутное, грязное небо гулким эхом:

— …Ибо отверзши очи не узрите радуг смарагдовых, и не узрите Восседающего на Престоле промеж ними! Не узрите звезду-вестницу! Не внемлите гласу трубному! Очи застила вам Тьма, рты и слух ваши запечатаны печатью греха…

В завывающий голос подмешивалась полупьяная нечленораздельность, будто у оратора порой заплетался язык, а также восторженная убежденность и напор полководца, ярящего легионы перед решающим сражением.

Этот голос был мне определенно знаком, и страшна была его перемена. Не глупое бубукание трактирного шута, развлекающего пьяную компанию смуровских патриотов. Не бормотание уличного дурачка, пророчествующего нам с Ханжиным казни египетские и Стахову Дикую Охоту.

По прежнему шепеляво-захлебывающийся, но теперь — грозный, повелительный, голос Державина.

Голос не шута, но пророка, многократно усиленный эхом, вещал из-за скал:

— Ибо введя в чертоги свои блудницу вавилонскую, отверзнулся от Света! Разумом помрачнев, устремился ко злу! Повлек за собой и вас, агнцев невинных, и вас — сирых, убогих, повел на заклание! Блудница же его же его спуталась со Зверем из Бездны, что прислан нам грешным в укор и на погибель! Тот, над кем насмехаетесь, кого Глиньком прозвали — есмь исчадие адское, левиафаново отродье, кракен!

Лестревич первым проскакивает узкое *гирло* растоки; мы спешим за ним.

Вот она какая — мельница… громоздится за линией крылатых всадников, циклопическое сооружение, чудовищных размеров колесо — затянутое мохом, архаичное, мегалитическое, мрачное — под стать окружающим скалам.

В свете самодельных пакляных факелов, в чехарде огненных отблесков, в зловещих отсветах пожара перед нами предстал новый мессия, не шут, но пророк:

— Ибо мельница сия есмь града нашего сердце! Личина его молочноречная, кисельнобережная, она есмь златой орех! И расколется ныне скорлупа орешная, осыпется грешная шелуха! И следом пребудут громы и молнии! И дымы и коням подобные акриды! И космы львиные и хвосты скорпионовы! Ибо тот, кого выбрали вы по неразумению себе в цари, кого зовете вы Мстиславом Усинским — есмь греховник и соблазнитель, и имя его — Аспид. Отринувши слово, оборотился ко мраку и, вас поведя за собою — первым сгинул!..

Шумела и волновалась разъяренная толпа, окружившая мельницу. Что-то средневековое, бунтарское было в них, вооруженных тем, что под руку попалось — вилами, слегами, топорами, поленьями поухватистей… Блики факелов играли на лезвиях страшных кос с переставленными напрямую, на манер копий лезвиями. Будто страшное эхо кровавых событий темного средневековья, словно ожившая реконструкция книжных гравюр, из смутных эпох, памятных теперешним гимназистам в основном по лаконичной реляции генерал-аншефа С. «Ура! Варшава наша!», и еще более лаконичного ответа Императрицы — «Ура, фельдмаршал!»…

И вот теперь — реалия. Статский, его трое полицайных и я — против взбудораженной толпы новых косиньеров.

А Державин вещал им. Сутулый, но не сгорбленный. Безумец, но уже отнюдь не дурачок. Совсем уже не смешной, а страшный — скакал по-карличьи, плюясь, перед неровным строем, потрясая сжатыми кулаками — вещал, заводя толпу. Как талантливый артист с вдохновенным монологом, как произносящий сокрушительную речь политик, как оперная примадонна, что впитывает в себя эманации слушателей, играя полутонами и интонациями, доводит до экстаза, до катарсиса…

Собирая лоб морщинами, хмурил белесые брови, щурил бесцветные глаза. Кликушествовал, брызгая слюной, скаля неровные зубы:

— …Внемлите, что говорю вам! Устрашитесь и призовите! Противу жал ядовитых и морочных тварей и терзаний души вашей — призовите! Ныне! Когда посланы вам испытания! Ныне — призовите защитников! Заклинаю вас — отриньте тьму! Узрите свет и тропу истинную! Ибо не кары и тьму и зло, но всеблагое светлое царствие, царствие земное обещаю вам! Плодородное и благословенное царствие! Ибо впереди вас — лучшие ангелы человечьего естества!

Державин, с шумом втягивая воздух сквозь прыгающие губы, обвел рукой шеренгу выстроившихся за его спиной всадников. В латах отражались отблески пламени, алые блики озаряли трепещущие крылья за спинами, леопардовые и львиные шкуры, пики с флажками.

— Что за чо-орт? — шипит Лестревич и лихорадочно тянет из кобуры револьвер.

— Статский…

Он косит на меня бешеным глазом. Мгновение — и мы без слов понимаем друг друга. С Лестревичем произошла удивительная перемена: в напряжении прямой опасности сыскарь, выскочка-примерник из Мурома, преобразился: удаль, злость и

пенность крови… он стал мне где-то симпатичен.

— Бузыкин, выдай доктору «миротворца»!

Старшой молча протягивает мне трехканальный пистоль.

Гомон толпы стих. Державин, сузив глаза, молча пялится на нас. Численное преимущество не на нашей стороне, но кураж удесятеряет силы.

Набычившись, статский рычит:

— Что за балаган, Дер-ржавин?!

Он мне нравится, определенно.

Державин трясет головой, устремляет скрюченный палец в нашу сторону:

— Узрите же! Вот они, во властные ризы облаченные, называющие себя *охранителями* и *защитниками* — но суть оборотни, переверты! Узрите зло! Вот он, чужак, навлекший на град наш столькие несчастия! Оградимся же от них дщерью зла, той, что Аспиду — кровь родная!

Двое облаченных в пестрые карнавальные кафтаны подручных Державина, матерясь, вытаскивают кого-то перед закованным в латы строем гусарии. Я вспоминаю их: конопатый юнец, задиравшийся в трактире, и малиновощекий толстяк-губошлеп. Только теперь от их шутовской неловкости не осталось и следа.

По спине моей змеится лютый холод.

Анна.

Руки связаны, коса распущена — толстяк, глумясь, запускает пятерню в волосы девушки, сладострастно рвет на себя…

— Что-с? — стеклянным голосом бросает Лестревич.

Он не замечает ни толпы, вооруженной косами и вилами, ни шеренги молчаливых всадников, которые кажутся искусно выполненными манекенами, задником декорации. Взгляд его прикован к Державину. Сжимающие револьвер пальцы побелели.

— Анна, дитя мое! *Бачишь* ли ты лик зла?! — квохчет Державин, по-птичьи наклонив голову.

В руке у него, будто из воздуха, появляется «ремингтон».

Толпа разошлась теперь не на шутку. В неверном дрожащем свете факелов и ламп — перекошенные рты, выпученные глаза, оскал гнилых зубов, спутанные волосы на вспотевших лбах… Крики, стоны, вопли — и поверх рвутся три голоса:

Анна кричит, пытаясь вырваться из лап державинцев:

— Безумец он! Безумец! Кому верите, за кем идете???

Лестревич ревет, нацеливая револьвер:

— Считаю до трррех!

Я тоже кричу что-то непонятное… и пляшет мушка «писмейкера-миротворца», пляшет, перекрывая шрам на шее

профета, похожий на упавшую букву «А».

Державин трясет головой — может, соглашается, а может, заходится в судороге. С шумом втягивает выступившую на губах пену, шепчет:

— Держи-держи-держи… — и голос его, страшно-звонко возрастает, рвется ввысь, эхом пляшет, метаясь меж скал, над толпой, присоединяясь к тройному нашему крику. — Не убоимся же зла! Ныне средь ангелов небесных, крыльями света осененных! Ныне в виду мрачного исчадия бездн…

Корченый палец мечется в воздухе, пока наконец в обвинительном жесте не указывает на мельницу.

— …суть ковчег, посланный из пучин изначальной тьмы! Тот, кто привел его к нам, есмь вестник мрака, из ребер, пястей и ногтей мертвячьих сплоченный! Не убоимся же! Родная кровь Аспидова вызовет смрадное исчадье для кары нашей праведной!

Его рука, сжимающая «ремингтон», неправдоподобно медленно, плавно, твердо поднимается, и револьвер упирается теперь Анне в грудь.

— Рраз! — чеканит Лестревич, взводя курок.

— Он лжет вам! Вы не понимаете, на что вы подняли руку! Люди, одумайтесь!! — голос Анны рвет ночь болью.

— В блеске твоем, в сиянии твоем ныне же! Салютант цезаре те моритури! Искупительной жертвой отдадим тебя за грехи наши! Не во имя себя, во имя поколения грядущего, поколения праведного! Страданиями нашими новому свету путь открывая!

— Два!

— Опомнитесь! Что же вы за звери?!

— За гробовой чертой же разделив бездну небесную и бездну земную, ныне же к тебе взываем, зверь бездн: дай нам узреть свой лик, погубительный и прекрасный! Ныне же, немедля отверзни уста — для чего ниспослан к нам??

— Тррри!

Лестревич выстрелил трижды.

В воздух. Ааах, муромская школа, ненасилие как метод, мать вашу!

Хлипкая шеренга из троих полицайных со статским, хотя и укрепленная мною на фланге, выглядела несуразно камедной по сранению со внезапно замолчавшей — по-нехорошему — толпы. В тишине лишь мерно побрякивало стремя о пластину армора на крупе лошади.

— Брянцев, тихо, не привлекайте к себе внимания. Вы же знаете, толпа идет за лидером, нет лидера — нет моба…

ХАНЖИН!!!

— Тихххо… не крутите головою, все равно не увидите сразу…

я тут, за углом. Долго объяснять! И это не совсем мельница, и не совсем Глинько, об этом позже… Сейчас главное — нейтрализовать Державина. Возьмите его на мушку и при первой же возможности, при открывшейся линии огня, когда Анна сдвинется хоть на пол-головы — стреляйте!

Я все же не утерпел и взглянул в ту сторону, откуда доносился знакомый, близкий до боли голос. То, что я увидел, представилось полностью в новом свете — «не совсем мельница».

Совсем не мельница!

Дирижабль нового поколения? Акварина? Ситмходка-амфибия? Совершенно неведомый мне механизм, величиной с ресторацию «Полдень Филиппа»…

Голос Ханжина доносился оттуда, или сквозь полуоткрытые двери, или из-за «куста», растущего у порога, — который при более пристальном рассмотрении оказался чем-то вроде антенны передатчика волнорадио.

Толпа внезапно вновь загомонила, закричала.

Поверхность озера вскипела водушными пузырями, и через мгновение на поверхности показалась голова в уборе, сильно смахивающем на большой чайник…

— Глинько-о-о-о!!! — безумно прорычал Державин. — Держи его!

Вода вскипела; мертвенным зеленым сиянием осветилось озеро.

Он шел в плеске воды — высокий, уродливо большеголовый, с непропорционально большим, бочкообразным телом.

На руках его безвольно обвисла женская фигура.

Тонкая кисть покачивалась в такт шагам Глинька. Он шел медленно, прочерчивая коленями пенные дорожки на зеленой, светящейся изнутри поверхности озера. Лицо девушки у него на руках было неподвижным, бледно-алебастровым. Мертвым.

Я сразу узнал ее, хотя никогда не видел живой.

Марыся.

Страшно завопили в толпе. Передние, что ближе всего находились к озеру и выходящей из него высокой фигуре, попятились, толкая позади стоящих. Толпа заволновалась, разродилась многоголосым криком, дрогнула, смешалась…

— Дииижиии!!! — вопил Державин.

«Ремингтон» его, описав дугу, нацелился на выходящего из воды монстра.

И в следующий миг, тошнотворно растянувшийся, будто смазанный, растерзанный и вновь соединенный вязкой массой копошащейся, толкающейся, бегущей толпы, произошло сразу несколько событий, изменивших всё…

И всех.

Анна, отчаянно рванувшись из рук остолбеневших державинцев, ринулась вперед, к воде, невольно очутившись на полпути между Державиным и Глиньком.

Несколько крылатых гусар тронулись наперерез толпе, навстречу нам, выпростав огромные пики.

Сам предводитель — Державин, прищурившись и закусив перепачканные пеной синюшные губы, выстрелил.

Матерно выбранившись, выстрелил Лестревич.

Выстрелил я.

Тройка крылатых прорвалась сквозь толпу, подминая зазевавшихся, топча упавших.

Дергается тело Лестревича, пронзенное пикой. Храпящий конь вместе с седоком увлекает его жертву прочь, несется к скалам. Острие второй пики грудью встречает старшой Бузыкин, и лязгающий сталью шквал сносит его.

Третья пика уготована мне.

Рука, сжимающая трехствол, медленно движется в направлении гусара, несущегося на меня — но понимаю что поздно, слишком поздно…

Всё.

Но наперерез всаднику — откуда-то сзади и сбоку — выносится стремительная тень. Гусар летит наземь, пика слепо пропарывает воздух. Мой славный боевой друг…

Ханжин, не жалея руки, с оттяжкой бьет всадника по личине шлема — со страшным чавканьем та проваливает нос и зубы всадника.

Туман в мозгу, сумасшедшая гонка, не бег даже, но животное выживание, сосредоточившееся в одном лишь стремлении — уцелеть… Мы несемся по берегу.

И вдруг — как вспышку молнии в кромешной тьме — я вижу…

Анну, лежащую на каменистом берегу. Глаза ее широко распахнуты, в них отражается мечущееся пламя факелов. Я падаю на колени, я кричу… кричу?

Чуть поодаль скрючился Державин, поймавший две пули — мою и Лестревича.

В отблесках пламени, что пляшут по поверхности озера, в мертвенном сиянии, исходящем из его глубин, к берегу медленно движется Глинько. Нескладные длинные руки все так же держат мертвую Марысю.

Что-то не так, что-то неправильно в том, как он идет.

Я понимаю.

Посреди единственного глаза — смотрового оконца

акванавтского шлема — зияет в кружевах трещин пулевая пробоина.

Он пытается подойти к нам, протягивая страшную свою ношу — шаг, еще шаг.

Заваливается назад, тяжело кренится. Оседает, рушится в воду вместе с Марысей, и вода, пенясь смыкается над ними.

Ханжин хрипит что-то неразборчивое. Прищурены черные щели глаз, сжаты бледные губы. Лицо его страшно в алых отсветах — китайская маска «цзинь».

Панически вопя, из мельтешения толпы вырывается толстяк, тот что был в трактире, тот что держал Анну… видит ее тело и кричит что-то испуганное, жалкое, блеющее…

Ханжин накидывается на него, ухватив за галуны кафтана, душит маорийским смертельным захватом… Что-то застит мои глаза, мешает — щиплет, скатывается по щекам. Холодная отстраненная мысль: неужели после всего того, что мне пришлось увидеть и испытать — неужели я все еще способен плакать?

— Идиоты! — хрипит Ханжин, когда я сдергиваю, оттаскиваю его от полузадохнувшегося толстяка. — Что же вы наделали, идиоты!!!

Земля вздрагивает под ногами. Часть озера вспухает, вздыбливается зеленой горой. Берег у мельницы лопается арбузной коркой. Мельница, ранее казавшаяся вечно-незыблемой, как само естество Земли, как часть ее, покрывается трещинами, сквозь которые прорывается наружу тот же зеленый, мертвенный свет. Жадно лижет темноту, прокалывает ее сотнями лучей.

Водяное колесо издав утробно-исполинский стон, кренится набок, и одна из громадных замшелых шестерней, вырвавшись из обоймы, катится под гору — страшное перекати-поле, нагоняет бегущих в панике людей, вдавливает их в камни…

Из-под земли рвется низкий, протяжный звук. Мне никогда не приходилось слышать ничего подобного. Стало быть, таков он и есть, Трубный Глас, про который твердил безумец Державин, в своих гипнотических речах смешавший разноязычные представления о Великом Конце… неужели он был прав?!

— Поздно, — Ханжин качает головой, растягивает губы в нервической улыбке. — Слишком поздно…

В его лице ни кровинки. Остекленевшим взором он смотрит на полыхающую мельницу.

Из недр, из нагромождения камней, изнутри полыхающей мельницы, со дна озера — несется страшный звук. Гортанный, полифонический, адский — в нем можно уловить некий ритм. Сочетания хрипов, треска, гула разбиты на периоды, повторяются равными долями.

— Что это, Ханжин?

— Он погиб, понимаете? — бормочет Ханжин, не глядя на меня. — Это защитная система, надо полагать. Как-то завязана на его личность. Трудно объяснить. Он *говорил* со мной, после того, как экстрагировал… изъял, словом, перенес меня туда, — он мотнул головой в сторону мельницы. — Никогда я не верил в телепатию, враки все это, — а вот поди ж ты, словно Глинько стал частью меня самого… я многого не понимал, это что-то запредельное, не для нас, не для… — Ханжин вдруг плотно взглянул мне в глаза, так, что екнуло что-то под ложечкой, — *не для людей.* Он пробовал раньше контактировать с Державиным… результат вы видели сами, — мой друг горько улыбнулся. — Поздно, Брянцев, не исправить…

— Что происходит, Ханжин? — мне неприятно видеть его бездеятельным, слабым.

— Вы только взгляните, снова рукав испортили, — мой друг улыбается, тщательно отряхивая пиджак. Его спокойствие в данной ситуации заставляет мое сердце облиться холодом ужаса. — Слышите периоды? Они сокращаются… Элементарно, дорогой Брянцев. Это обратный отсчет.

Роняя факлы, лампы, слеги и косы, спотыкаясь о тела, уклоняясь от обрушивающихся, летящих, объятых пламенем кусков мельницы, толпа бежит прочь из ущелья. Храпят обезумевшие лошади: одна из них проносится мимо нас по берегу, таща за собой по камням гусара с ногой, застрявшей в стремени. Надломленные белые крылья прочерчивают землю. Низвергнутый ангел.

— Обратный отсчет чего? — спрашиваю я.

Ханжин пожимает плечами:

— Не могу представить, как сработает защитный механизм. Скорее всего, полный вайпаут, как говорят наши коллеги в Лондоне. *Не для людей,* Брянцев, — повторился он. — Вспомните Причетта. Тайна, что погубила Усинских. Тайна свела с ума местечкового бонапарта. Теперь она похоронит самое себя… нет ли у вас сигариллы?

Лицо моего друга вновь принадлежит ему. Ироничный, спокойный Ханжин.

Ядовитый дым заполняет глотку и ноздри, мы заходимся кашлем, укрываемся рукавами, уворачиваемся от рушащихся горящих балок, но — упорно ныряем в самое сердце ада.

В ярких всплохах — та самая черная твердь.

— Жаль, не успели… сигарилла… — Ханжин вдруг громко, сумасшедше хохочет: — Брянцев, тигр ел не бабушку… — и отчетливо говорит, пребольно сдавив мне локоть:

— *Тигр ест Марысю,* Брянцев. Марысю. Буква «м», четырнадцатая буква алфавита. Двадцатое июня четырнадцатого года. Сегодня, Брянцев. Что-то должно случиться сегодня. Глинько дал знать Марысе, но за ней уже шла по пятам державинская свора… тем рисунком она пыталась предупредить Анну… и всех… Я не смог, не догадался вовремя… — Ханжин снова по-безумному горько хохочет.

Он тянет меня за рукав. Черная твердь. Черная жидкость. Я панически боюсь, что, как и в прошлый раз, она примет лишь Ханжина, а я останусь здесь, в аду.

На долю секунды видение мертвой Анны заставляет меня колебаться — но лишь на долю секунды.

Ее больше нет.

Вязкая, милосердная чернь принимает нас обоих. Она скрадывает звуки и видения ада.

Черная как нефть, равнодушная как ночь, ласковая, как забвение морфия искусного придумщика Байльштайна.

Мы ныряем во тьму.

* * *

…мелодичное потренькивание радиографа заставляет вздрогнуть.

Я смотрю на шейный платок Ханжина. Туда, где шелк ныряет под лацкан шлафрока. На ткань малахитового цвета упала крошечная капля джема. Наверняка расстроится.

Из распахнутого окна тянет разогретой смазкой, долетает пыхтение пассажирского люксомотива на остановке в конце Пекарской. Сквозняк колеблет штору, открывая путь солнечным лучам.

Лента момент-разговора резво ползет из приемника радиографа… взгляд мой рассеянно скользит вдоль и мимо: красный сторожок ленты экстренных сообщений — подставка с кочергами — бюро с картотекой — бронзовая статуэтка ганеши — прислоненный к откинутой крышке бювара каллиофон — офорты Калло с мельницею и бедствиями войны — котелок и метроном на книжном шкапу — иллюстрации из парацельсового травника в рамках

и

вот

снова

вижу

штору…

Я подхожу к окну и смотрю вниз. На углу у бакалеи стоит человек в диковинном наряде. Затертый кафтан с облезшими позументами и потрепанными шнурами, полысевшая меховая опушка воротника. У человека выцветшие глаза под белесыми ресницами. Шрам, похожий на завалившуюся набок букву «А», охватывает левую скулу и участок шеи. Пузырится слюна в углу рта; похоже, шрам повредил лицевые мышцы.

Человек кажется мне странно знакомым. Откуда?

— Брянцев, вы, наконец, примете сообщение? — спрашивает Ханжин.

Голос его доносится будто сквозь вязкий кисель. Воздух внезапно сгустился. Дурацкие ватные сугробы, какая-то детская, знакомая апатия болящести, обреченности вдруг заполнили комнату. Звенит серебряная ложечка о грань стакана. Пей, малыш, это поможет. Поможет? Доктор, я не умру? Что вы, Виктоша, лет до ста расти вам без старости. Безнадежно и муторно на душе. Боль, болезнь. Марево. Зыбь.

Откуда-то из этого дрожащего марева, незримой маеты, выплывает лицо девушки с тонкими чертами лица, с локоном, выбившимся из-под шоффэрского картуза. Кто? Как? Апатия мешает узнать, разглядеть… Что-то скребется, першит в горле, и застряет слеза на ресницах.

Ханжин смотрит на меня, приподняв бровь.

Радиограф все заливается. Я направляюсь к машинерии.

Паника, постоянная спутница дурных предчувствий, липкими, суетливыми пальцами пытается свихнуть нормальность сознания.

Но я давлю ее, как вошь.

Потому что красный сторожок ленты экстренных сообщений поднят.

Глаза бегут по прыгающим строчкам.

«Сегодня — 20 июня 1914 года. В событной ленте:

…Вулканические выбросы в Королевстве Исландском привели к задымлению воздуха и запорошению земель многих европейских держав. Полеты межимперских рейсовых дирижаблей большей частию отменены…

…Намедни в Сараево, в соответствии с санкцией губернатора Боснии-Герцоговины генерала Потёрека, была арестована группа активников тайной организации «Союз Смерти», поименно: Гаврило Принцип, Мухамад Мехмедбашич, Трифко Грабеш и Данило Илич. Группа планировала покушение на жизнь эрцгерцога Фердинанда… Эрцгерцог и его жена Софи имеют в планах посещение Сараево с целью благотворительного аукциона по случаю открытия музея…

…Канцлер Германский Дитц и Его Превосходительство секрет-маршал Печуров обменялись нотами протеста и, соответственно, неприятия оного. По сообщению германского радиографного общества Дас Вирт, взрыв непонятной природы и великой мощности в Луцком приезде привел к отравлению тысяч жителей в восточных областях Воеводства Литовско-Польского, а также к падежу скота и контаминации посевов… В соответствии с Вильненским Пактом, Германия ввела и разместила вдоль границы между Воеводством и Российской Империей шесть пехотных дивизий, три авиа-полка и две танковые бригады…

В усталом, равнодушном мозгу плывут цифры 20-6-14… потом нелепое: «тигр ест Марысю»… кто эта Марыся? Почему тигр? Глупо… Безразлично…

Осколки не то воспоминаний, не то видений, не то кошмаров рассыпались перед моими глазами хороводами мерцающей пыли.

Не собрать, не соединить.

Тень карлика способна укрыть великана. Божьи мельницы мелют медленно, но не ведают покоя.

Дано ли предугадать, где расположена точка отсчета великих перемен?

На мягких тигровых лапах в мир наш пришла новая эра — хищный век, век-кровопийца, век-косиньер…

Век-Жнец.

Вяжется, нанизывается щемящая жалость по старому, любимому до боли:

«Назови меня по имени, Алехандро… Подари мне ночь страсти, Алехандро!»

Все осталось *там*. За точкой отсчета.